

Ногти

1

Я познакомился с Бахатовым еще в Доме малютки. Впрочем, мы не отдавали себе отчета, что наше знакомство состоялось, – нам было всего несколько месяцев от роду. Первое мое осмысленное восприятие Бахатова произошло в отделении восстановительной терапии, в палате для умственно отсталых детей. Бахатов с младенчества умел произвести тягостное впечатление о состоянии своего интеллекта – виной тому мятой формы череп и бесконечные слюни. Бахатовым его назвали потому, что пеленки, в которых он находился, помимо выделений Бахатова имели штемпельную аббревиатуру «Б. Х. Т.». Мои же пеленки, если таковые имелись, ничего, кроме меня и моего горба, не содержали.

Я появился на свет горбуном – плод эгоизма и безответственности, резюме пьяных рук, постфактум отравленного вестибулярного аппарата. Меня не отдали к сколиозникам, а оставили на потеху у слабоумных. Эрудит-доктор придумал мне фамилию – Глостер. Королевское клеймо безграмотные сестры частенько меняли на Клистир. Но по паспорту я – Глостер, подкидной дурак, как и Бахатов.

С рождения меня сопровождал сонм обидных поговорок и прибауток. Няньки, бывало, так и кричали: «Слышь, для тебя новый массажер придумали, чтоб

горб исправить! Знаешь, как называется?!» Я отвечал: «Нет», – а они: «Могила!» – и смеялись до колик. На медосмотр, в столовую, на прогулку меня звали, искусственно огрубляя голос под Владимира Высоцкого: «А теперь Горбатый! Я сказал, Горбатый!» – если я мешкал. Однажды, я уже был постарше, директор нашего интерната в присутствии врачей, сестер и нянек подозвал меня и сказал: «Угадай, как ты будешь называться, если станешь пидарасом?» Я промолчал, чувствуя подвох, и он сам ответил: «Пидарас горбатый!» – и расхохотался так искренне, что я засмеялся вместе с ним. Я научился отвечать смехом на любую выходку.

Бахатов, в сущности, тоже был нормальным, только некрасивым, и оставалось догадываться, что глотала или пила мамаша Бахатова, чтоб избавиться от него.

Но мы смогли научиться читать и писать, у меня иногда появлялись трудности с арифметикой, у Бахатова с гуманитарными дисциплинами, однако я подчеркиваю: мы были нормальными. Специально мне и Бахатову завхоз доставал учебники, подготовленные Министерством образования для школ в Средней Азии на русском языке. Дебильные буквари-раскраски не утратили нашего умственного голода. Иногда к нам приходили учителя из нормальной школы и рассказывали про Африку и другие страны, а завхоз показывал, как клеить конверты.

Я вспоминаю момент, когда я впервые смог осознать сознанием, понять глазами существование Бахатова. До этого я помнил все события своей жизни только спиной. Невидимые руки хватали меня за мою горбатую шкуру и несли, как чемодан. В полете я увидел Бахатова. Он рос из горшка, похожий на бутон тюльпана, и бессмысленно выл. Меня усадили на горшок рядом

с ним, и мы смогли разглядеть друг друга. Бахатов перестал плакать, засунул в рот палец и попытался обгрызть ноготь. Зубов не хватало, и Бахатов опять заплакал, но я уже знал причину его слез. Я глянул вниз и увидел ноги Бахатова, ступни и длинные с черным гуцульским орнаментом ногти. Первое воспоминание моего ума.

2

В возрасте шести лет нас перевели из больницы в специальный интернат «Гирлянда». Это было зимой. Заведующая отделением передала наши документы человеку, приехавшему на темно-зеленом уазике, нам собрали в дорогу оладьи и майонезную баночку с яблочным повидлом, закутали во множество одежек; одна из нянек, жалевшая меня больше других, натянула мне на горб вязаную шапочку. Бахатову дали в подарок пластмассового белого зайца с плоскими заманчивыми ушами. В дороге Бахатов обгрыз зайцу уши под череп, но держался молодцом и не плакал.

Интернат находился километрах в тридцати от города. Когда-то это был пионерский лагерь. Вокруг двухэтажного здания еще сохранились качели всех сортов, игровые площадки для волейбола, баскетбольные щиты, небольшой стадиончик, беседки и бетонированная площадка с железной мачтой – место линеек, но все пришло в упадок. Новые обитатели лагеря нуждались только в койках. В интернате находились чуть больше сотни детей: десятка полтора-два даунов, дюжина гидроцефалов с тыквенными головами, дистрофики с вздувшимися паучьими животами, с атрофированным телом, костяными ручками-ножками – таких штук двадцать имелось, и многочисленные разных степеней олигофрены. Таков был слабоумный контингент

специнтерната «Гирлянда», или, как поэтично называл нас директор, «Ума палаты».

Мы зашли внутрь здания и проследовали по коридору до кабинета с плексигласовой табличкой. Человек, который приехал с нами, постучал гулким суставом в дверь, и мужской голос разрешил войти.

– Вот, привез, – сказал человек.

Тот, кто впустил нас, стоял возле окна со стаканом в руке. На лице оставалась гримаса от содержимого стакана, но постепенно рот его разгладился. Он чуть согнулся, уперев руки в колени, и спросил почти приветливо:

– Откуда ж вы такие приехали, ребятишки? – Он улыбнулся. – От верблюда?

Бахатов чудовищно зарыдал, я чудовищно засмеялся. Взрослые переглянулись, наш конвойный достал из кармана ириску и помахал ею перед носом Бахатова.

– Ну, а как вас звать-величать? – спросил главный.

К этому вопросу нас готовили целый месяц, мы репетировали ответ под наблюдением заведующей и довели до автоматизма. Я сделал шаг вперед и сказал:

– Александр Глостер!

Бахатов, усмиренный конфетой, вязко прошамкал:

– Сережа Бахатов.

– А я – Игнат Борисович, – сказал главный. – Будем дружить? Я здесь директор, и все-все детки должны меня слушаться, а не то сразу в попку укольчик!

– Пора, поеду, – конвойный положил на стол папку с нашими жизнями.

– В добрый путь, – сказал веселый Игнат Борисович и спрятал папку в сейф.

Потом пришла нянька. Она показала, где находятся наши шкафчики, мы сложили туда больничные лохмотья, и нянька научила, как запомнить свою дверцу. Вместо обеда, который уже закончился, мы доели наши

олады. Меня и Бахатова отвели в палату и усадили каждого на его кровать. Закономерно или случайно, но они стояли рядом.

– Вы ж два братика, – сказала нянька, вкладывая смысл.

Только она оставила нас, кровати зашевелились, и из-под одеял повывлезали дети. Один свалился на пол и на четвереньках пополз в нашу сторону, издавая рычащие звуки: дрын-дыг-дыг-дыг. Очевидно, эта шумовая комбинация имитировала рев двигателя. Также я успел заметить, что у ползущего высохшие до косточек, отмершие ступни. Я приветливо просигналил губами, полагая, что с машиной нужно общаться на ее языке. Нас благополучно объехали. На соседней кровати кто-то душераздирающе крикнул: «Винни-Пух, Винни-Пух!» – и забился в припадке.

Несколько лупоглазых голов поднялось над подушками. Самый взрослый мальчик начал всех успокаивать: «Мама ушла за гостинцами», – и еще какими-то неразборчивыми словами. А потом повернулся ко мне и неожиданно заорал: «Не бойся!» – и ударил себя по лицу.

А вот моя кровать мне очень понравилась, в больнице таких не было: старого образца, с панцирной сеткой и узорными чугунными спинками, украшенными блестящими шариками. Я сразу схватился за один из них и попытался отвернуть, но пальцы только скользили по гладкой поверхности шарика. Он не отвинчивался потому, что являлся литой частью, и это было даже лучше – я нашел занятие своим нервным рукам.

Бахатов всегда и везде утешался обкусыванием ногтей. Отращивал и, уединившись, обкусывал. Так повелось еще с нашего пребывания в больнице. В интернате этот ритуал сложился окончательно. Бахатов не

терпел свидетелей, но я был началом его памяти, мне разрешалось все.

Обряд проходил раз в месяц в строгой последовательности: с утра Бахатов не мыл рук и постился, на закате он доставал клочок «Комсомольской правды» или какой-нибудь другой газеты и, повернувшись лицом к солнцу, громко читал, что там написано. Затем Бахатов закатывал глаза, опускался на колени и начинал обкусывать ноготь на мизинце правой руки, следом – на безымянном, среднем, указательном, большом пальцах – ногти ни в коем случае не выплевывались – и принимался за левую руку. Ногти обкусывались в том же порядке – от мизинца к большому пальцу.

Десять прозрачных полумесяцев Бахатов сплевывал на газету и, в зависимости от того, как легли ногти, делал выводы о будущем. Под влиянием ногтей информация, напечатанная в газете, трансформировалась в предсказание, Бахатов получал программу поведения на следующий месяц для себя и меня. Чистота соблюдения ритуала гарантировала нашу безопасность. Гадание заканчивалось тем, что Бахатов зазубренными пальцами глубоко царапал грудь и выступившей кровью кропил ногти и бумажку, а потом все закапывал в землю, нашептывая неизвестные слова.

Мне бы хотелось глубже проникнуть в суть его священнодействий, но Бахатов убеждал не делать этого, говорил, что опасно. Помню, однажды я ослушался его и заглянул в бумажку с ногтями. Я мельком увидел колодец, липкая чернота которого схватила меня за голову и потянула. Я услышал за спиной жуткий собачий вой и потерял сознание. Бахатов привел меня в чувство. Он выглядел изможденным. Я хотел было пошутить, но осекся – Бахатов буквально истекал кровью, изорвав

тело до ребер. С его слов я понял, что он этим откупил меня от колодца и собаки. Больше я не вмешивался в религиозную жизнь Бахатова.

Конечно, ему было трудно в течение месяца не прикасаться к ногтям. Приходилось искать искусственные заменители. Мы предпринимали тайные вылазки на окрестные свалки и там собирали пробки из-под шампанского, пластмассовые крышки и вообще все мягкие пластиковые предметы.

Я пытался занять Бахатова отвинчиванием шариков. Года два он вяло следовал моему примеру, потом забросил, говорил, что не видит смысла. Я объяснял ему, что в этом и есть глубинный смысл – отвинчивать неотвинчиваемое. Бахатов лишь качал головой и улыбался.

3

А в остальном наши дни текли спокойно, сытно и размеренно. В те времена государство кормило нас на пять рублей в сутки. Мы получали по воскресеньям шоколад и даже праздновали Новый год и Первомай. На праздники всех детей звали по именам и только провинившихся или обгадившихся – по кличкам. Правда и то, что безропотному большинству было все равно, как звать, чем кормят и в чем они спят. Далекие от мира и речи, они существовали запредельной немой мыслью, которая едва шевелила их медленные лица. Некоторые дети не разговаривали, а пользовались жестами. Играли тоже по-особенному, в одиночку, сидели без движения, что-то шептали, а игрушку держали в руке. Сюжетные события разыгрывались в воображении. Спросишь такого, что он видит, а тебе в ответ: «Прекрасных зайчиков», – и ни слова больше. Со многими мы подружи-

лись. Они оказались славными: и механический ползун Толя-Вездеход, и гидроцефал Димка, по прозвищу Чеснок, и Сульфат Магний Ибрагим, прилежный даун, и Катька-Надоела-Голова, чудаковатая девчонка, – всех не перечислишь.

Они умирали тихо и незаметно: кто во сне, кто в момент кормления; шейка будто надламывалась, голова свешивалась набок и глаза леденели. Всегда умирали по двое, с небольшим интервалом. Каждому находился братик или сестричка в смерти. Если родные не приезжали за трупами, их хоронили на собственном кладбище, находившемся на территории интерната.

Кладбище было хозяйственной гордостью Игната Борисовича. Из гуманных соображений его разместили подальше от детских глаз. По эстетическим соображениям места захоронения окружала живописная парковая природа. Игнат Борисович особенно упирал на то, что за могилками у нас всегда присмотрят.

Самой нелепой смертью умер, пожалуй, только наш Толя-Вездеход. Он ползал, надо сказать, замечательно, преодолевая трудные поверхности. Увязался он как-то с нами, ходячими, гулять и угодил в старую выгребную яму – видно, затянуло проклятую зеленой ряской. Вездеход, приняв ее за лужайку, ушел на дно, как и полагается тяжелой металлоконструкции, гордо и тихо, без криков о помощи.

Но в свободное от смерти время все же бывало весело, особенно в Новый год. В самой большой палате койки отодвигались к стенам, а в центре ставилась елка. За неделю до торжества все садились мастерить игрушки: вырезали из старых «Огоньков» яркие картинки, наклеивали на картон, а няньки делали нитяные петельки. Мы разучивали стихи и песни. Те, кто мог, украшали

окна бумажными снежинками. Под вечер Игнат Борисович приносил из кабинета телевизор, включал его, и начинался праздник. До Московских курантов мы успевали поводить хоровод вокруг елки, развлечь себя и медперсонал самодельными номерами, поиграть в подвижные игры типа «Кто быстрее перенесет мамыны покупки» – любимая игра Игната Борисовича. Он ужасно смеялся, глядя, как мы сшибались лбами, переноса со стула на стул импровизированные мешочки с покупками загадочной мамы. Потом мы отплясывали под аккомпанемент нашего музыканта Власика. Он разводил пустыми руками, имитируя игру на баяне, при этом всегда мычал один и тот же мотив: «На танцующих утят быть похожими хотят...» – и в такт притоптывал ножкой. Мы выделявали танцевальные па, приседали, кружились – воображаю, насколько потешно это выглядело в моем исполнении – а Игнат Борисович, все сестры, санитары и няньки хлопали в ладоши. Ровно в девять нам наливали побродившего компоту и укладывали спать, то есть Новый год мы встречали во сне.

4

В будничные дни по утрам мы получали образование. Наша школа, то есть место, где проходили занятия, находилась на первом этаже интерната. Одну из комнат преобразовали в учебный класс. Поставили несколько стареньких парт – подарок совхозных шефов, а на стену повесили доску. Парты были изрисованы прежними детьми, и благодаря этим каракулям я ощущал себя настоящим школьником. Наш урок длился около получаса, и в день больше одного предмета не преподавали, чтоб не перегружать наши маломощные мозги.

В школе, кроме меня и Бахатова, учились еще шесть ребят. Я сидел за одной партой с Бахатовым. Мы занимались по индивидуальной программе и были единственными, кому ставили настоящие оценки в журнал. Остальным раздавали картонные «пятерки». По-моему, они и в школу-то ходили только ради этих игрушек.

Учителя, которые приходили из поселка, побаивались нас. Их отвращали наши лица, неправильные туловища, невнятные голоса, мимика, жесты – все вызывало брезгливый страх. Как-то на уроке математики Бахатову долго не давалась задачка, он провозился над ней весь урок, вдруг его осенило, он нашел решение и, радостно гудя, подбежал к молоденькой учительнице. Она упала в обморок – так испугалась Бахатова.

Я с благодарностью вспоминаю аспирантов мед-института, чьи работы каким-то образом касались вопросов педагогики для слабоумных. За полтора года, что они тренировались на нас, мы освоили письмо, читали из специальных книжек, а потом рассказывали, что поняли. И это было очень интересно.

Потом аспирантов сменили обыкновенные учителя. Уроки литературы превратились в чтение вслух сказок, урок языка в малевание палочек и крючочков. Учителя-мужчины выпивали с Игнатом Борисовичем и весь урок сидели безмолвные у окна. Кто-то, наоборот, оживлялся и вместо положенной географии или ботаники начинал вдруг говорить с нами о жизни, откровенничая, как с пустым пространством. На уроке истории однажды я услышал о своем однофамильце. Нам рассказывали о средневековой Англии, войне Алой и Белой Роз и горбатым герцоге Ричарде Глостере. Много лет спустя, в фильме Алана Паркера «Стена», я увидел мультипликационную схватку цветов, больше похожую на сово-

купление. Я был поражен тому, что именно так и воспринимал цветочную войну.

От пионеров в наследство осталась небольшая библиотека. Я прочел ее всю. Очень мне нравились стихи и вообще сама возможность рифмования. В одной детской книжке под картинкой был стишок:

Двери распахнул отец:
– Получайте огурец!

Не знаю почему, но ситуация представлялась мне необычайно комичной. Сидят себе люди в комнате, вдруг – бах! – распахивается дверь, и на пороге пошатывается отец с огурцом в руке: «Нате, – говорит, – огурец!»

Когда эти строчки приходили мне на ум, я начинал биться в приступках хохота. Литературная мощь двустихия иногда среди ночи поднимала меня и заставляла безмолвно дрожать животом. Во время обеда я прыскал на всех супом, если эта уморительная ситуация всплывала в голове, а я сидел с полным ртом. К сожалению, мне даже не хватало сил прочесть стих хоть кому-нибудь. Я пускал пузыри и давился смехом. Если меня уж очень обижали, я уходил в тихое место и там читал для себя про отца и огурец и тихо смеялся.

5

Я вспоминаю первые в жизни звуки музыки. До трех лет детства я не тратил эмоций и слыл спокойным ребенком. Но однажды, после очередной инспекции, устроившей разнос за то, что у детей в палате нет радиоприемника, все волшебным образом изменилось. Пришел

больничный столяр и над бесконечно высокой и недоступной розеткой приладил полочку, а чуть позже сестра-хозяйка установила на нее ребристый белый брусок с черным, похожим на собачий нос колесиком. В тот день я себя неважно чувствовал, навалилась очередная хандра, и перекололи меня всякой дрянью. И тут заиграла музыка.

Сейчас мне кажется, что это был Чайковский, фрагмент из «Щелкунчика». Под льющиеся со стены звуки я представил, что умер. Величественная громада музыки привиделась мне собственным прекрасным трупом, и в этом мертвом отражении меня в каждой ноте звучала боль и сладость спины. Я слушал не ушами, а мыслью, холодившей пустоту горба. Моя искривленная плоть чувствовала с музыкой родство, стремилась стать ее горбохранилищем.

Я ощутил всю жизненную тяжесть вскинутаго на спину живота, беременного чудным постояльцем. Едва проникнув в горб, он наиграл услышанные звуки. Мои всегда сухие глаза свело судорогой слез, я зарыдал, и только оттого, что в моем мясистом музыкальном центре играл самостоятельный, неслышный миру органчик. То была боль первого вдоха младенца, первая резь в легких.

С того момента все свободные от дружбы с Бахатовым часы я проводил у радиоприемника. Персонал только посмеивался над этой симфонической страстью. Наблюдая за мной, за моей внимательной согбенной позой, они говорили, что горбун не слушает, а подслушивает у радио.

Я испытывал потребность в звукоснимателе, извлекал мелодии из всего, что могло греметь, звенеть и тренькать, играл на расческах, булавках, столах, банках. Но однажды мне подвернулась стоящая штука.

Дело в том, что я и Бахатов и еще десятка полтора ребят пользовались относительной свободой перемещения в пределах интерната. Уже подростком, тринадцати лет, путешествуя по отдаленному крылу, я наткнулся на незнакомую дверь. За нею было складское помещение. Кроме поломанных стульев, перевернутых столов, пыльных тряпичных стендов с пионерским содержанием, там находилось пианино. Я сбросил с него весь наваленный хлам: тряпки, бородатые портреты, гимнастические кольца, нашел стул с отломанной, будто для меня, спинкой и сел за инструмент.

Конечно же, я имел представление, как играть на пианино – видел по телевизору композитора Раймонда Паулса. Он точно окунал руки в клавиатуру, а потом выполаскивал их из стороны в сторону. Получалось очень красиво.

Найденное пианино напоминало катафалк. Я осторожно приподнял крышку музыкального гроба, и взору моему предстали желтые от времени мощи. Я потрогал их руками, перебрал пальцами каждую косточку, запомнив ее звучание. Мне было безразлично, настроены ли струны. Я не нуждался в музыкальном строе и обошелся бы любым набором, всяким беспорядком. Запомнив звуковые возможности всех клавиш, я стал нажимать на них, комбинируя количество: от одной до десяти – и глубину нажатия. Инструмент полностью мне подчинялся, в меру своих фальшивых сил. Скорость укладывания пальцев в мелодические группы оставляла желать лучшего, но через полгода я мог сыграть любую фантазию горба.

Кого-то из нянек или сестер угораздило услышать мои музицирования. Они донесли об этом Игнату Борисовичу. Игнат не поверил и попросил меня поиграть для него. Я представил его вниманию вариацию-экс-

промт, из раннего, на тему «Час на ржавом горшке после пшенной крупы с кубиком аминазина». Игнат Борисович, посмеиваясь, прослушал меня. Я спросил его, можно ли мне приходить сюда заниматься. Он сказал, что нельзя, и шутливо добавил: «Если перестанешь горбиться, я тебе подарю аккордеон». Терзаясь музыкальной похотью, я послушался его и уже на следующий день прокрался в заветную подсобку. Но пианино навсегда исчезло.

Правда, Игнат Борисович сжалился надо мной и принес обещанный в шутку аккордеон. Новый инструмент я освоил за пару часов. И потом на всех праздниках я играл вместо Власика. Не скажу что с большим успехом – ребята здорово привыкли к нему. Но во время областных комиссий я оказывался незаменимым. Игнат Борисович выставлял меня как некий качественный скачок в работе всего заведения. Только предупреждал, чтоб я играл что-нибудь простенькое, в диапазоне от «Чижика» до Пахмутовой.

А жизнь в интернате постепенно ухудшалась. Я помню, в восемьдесят пятом генеральным секретарем стал Горбачев. Наши тогда шутили: «Папка твой, скоро забрет тебя...» Но не забрал.

6

В том же году я узнал, что созрел. Когда меня купали, я возбуждался. Обсуждая мое внезапно отекавшее громоздкое «хозяйство», бабы вздыхали: «И зачем дурачку столько», – и кому-нибудь в шутку или всерьез предлагалось повалиться со мной. Говорили, что с горбатым, как на пресс-папье, кататься можно.

У меня появилась любовь, девочка Настенька, слабоумный стебелек. Ее привезли к нам в возрасте деся-

ти лет. Родители долго не хотели расставаться с ней, она была такая красивая, но как мертвая. Она не умела жить, лежала безмолвно, не плакала, не просила пищи. С закрытыми глазами она проводила годы и в свете не нуждалась. Однажды увидев ее, я стал часто приходить к ней в палату. Садился рядом и смотрел, разговаривал. Я сказал, что хочу помогать нянке ухаживать за Настенькой. Мне разрешили кормить и менять мокрые простыни. Я укладывал гребнем ее волосы, обтирал кожу влажной марлей. И так много лет. Я наблюдал рост тела, взросление лица, оно становилось все более прекрасным и осмысленным. Спящая мудрость чудилась в Настеньке. Красота порождает этот обман. Настенькина надувная прелесть и пустота внутри меня не беспокоили. Было прекрасное, без единой патологии тело, которое могло протянуть при соответствующем уходе еще полвека.

Я спрашивал Бахатова, есть ли смысл во встречах с Настенькой. Бахатов, по натуре монах, отвечал туманно, иносказательно и с неохотой. Он недоумевал, как может человек, посвятивший жизнь отвинчиванию шаров, тратить время на что-нибудь еще. Действительно, из-за Настеньки я многое забросил. Ее внутренний покой учил терпеливости и смирению. Я полюбил трогать Настеньку губами, их чуткость превосходила чуткость пальцев. Губы чувствовали глубже, и к новым ощущениям добавлялся вкус. Я питался Настенькой, принимал ее внутрь как лекарство. Она выделяла сладкую чистоту, которую я слизывал, чтобы выжить и не сойти с ума.

Мою влюбленность сделали предметом насмешки. Старый персонал сменился новым, молодым и беспринципным, без святого. Нам даже устроили игрушечную свадьбу. Ведь докторам тоже скучно, а так все выпили,

потанцевали, кричали: «Горько!» Бахатов был моим свидетелем, Настеньке нашли полоумную подружку. Всех наших, кто умел сидеть, усадили за праздничный стол. Они верили, что на свадьбе, и радовались, и я почти верил. Злой фарс закончился тем, что нас все равно развели по палатам подвыпившие санитары.

А однажды я не узнал Настеньку. Изменился ее вкус, стал горьковатым и пряным, не скажу, неприятным, но другим. Изменилось лицо, в нем появилась тайна, во рту подобие улыбки и порока. Тело словно наполнилось чем-то земным, из него ушла одухотворенность, исчезла, пусть призрачная, но мудрость. Как подменили Настеньку. Я недоумевал, я извелся – что случилось? Мне подумалось, что перемены с Настенькой происходят в мое отсутствие – днем я не отходил от нее. Следующей ночью я не ложился спать.

Когда снотворными усилиями все вокруг стихло, я потихоньку встал, выглянул в коридор, там тоже было тихо, и осторожно пробрался в Настенькину палату. Кроме Настеньки, в палате жил Петька-дистрофик. Его временно подселили к Настеньке, там поумирали все девочки и было много места. Я нырнул под одеяло к Петьке и притаился в своей засаде. Вскоре послышались осторожные шаги и приглушенные голоса. В палату зашли два санитар: Вовчик и Амир, из новых. Перешептываясь, они подошли к Настеньке. Вовчик стащил с Настеньки одеяло, а потом они раздели ее. Мне даже показалось, что она, обычно такая неподвижная, помогла им.

Вовчик интимно сказал:

– Если что, говорим: «Обоссалась и меняли пижаму».

– А может, ну его? – опасно спросил Амир.

– Дурак, – выругался Вовчик, – такие таски, я отвечаю. На сиськи посмотри!

Он помял руками груди Настеньки и засопел:

– Кайф... Потрогай!

Амир настороженно потрогал Настеньку:

– Офигенно, а теперь что?

– Стань на шухор, потом я постою, – сказал Вовчик, расстегивая штаны.

То, что под штанами казалось завязанным в узел, распрямилось и покачивалось. Вовчик раскинул бесильные Настенькины ноги и улегся на нее. Он рукой пристроил свое напряжение между ног Настеньки и начал взад-вперед раскачиваться.

Он мычал, как Власик, наконец, весь затрясся, взвыл:

– У-ух, бля! – и слез с Настеньки.

– Теперь ты, – сказал Вовчик, – меняемся.

Вовчик стал возле дверей, а Амир лег дергаться на Настеньку. Через минуту он тоже взвыл.

– А ты еще бздел, дурак, – усмехнулся Вовчик.

Они проворно одели Настеньку, прикрыли одеялом и вышли.

Я выбрался из своего убежища. Осмысление произошедшего подступило, но не реализовалось. Главным образом, из-за тяжелого возбуждения в нижней части меня. Не осознавая причины, я подошел к Настеньке, раскрыл ее и раздел, затем, подражая санитарам, улегся на нее своим возбуждением. Оно долго не находило места и вдруг точно провалилось в мокрый огонь, и я понял, что Настенька ощутила это сладкое жжение. Я вызывал его раз за разом, не в силах остановиться, пока, завывая, не выплеснулся.

Я лежал на ней как опрокинутая арфа. Невидимыми руками Настенька оборвала все струны, умолк внутренний музыкант, и я заплакал от жадности к Настеньки-

ному телу, от пустоты в горбу и в голове, от опустошенности души. Я закутал использованную Настеньку в одеяло и поплелся в палату.

Бахатов не спал. Я сказал ему: «Она высосала мою силу, впустила санитаров. Во мне не осталось звуков, я потерял о них память, а санитары вошли и остались, и едят меня изнутри!»

Бахатов показал полуторанедельные, слабые ногти. Только через две с половиной недели он изгнал из меня санитаров и вернул звуки. До этого по ночам мне виделись белые черви.

Однажды Настеньку ни с того ни с сего вырвало, потом снова. И, чем ни покормят, – результат тот же. Ее увезли и долго обследовали. Я ходил неприкаянный, и еще Бахатов черт-те что пророчил. Иногда я поглядывал в глаза то Вовчику, то Амиру, пытаюсь прочесть, что с Настенькой. Они избегали моего взгляда, отворачивались – тоже нервничали.

Экспертиза показала беременность. За мной пришли, сначала укололи, после больно подвязали – особенно старались Вовчик и Амир – и повели на дознание к Игнату Борисовичу. Беременность бросала тень на весь интернат, и ему стоило больших усилий, чтоб дело не вышло на область. Он созвал врачебный совет.

Мне не было нужды прикидываться дурачком – меня таким считали. Я замел следы, отвечая глупо и бесхитростно. Из меня тщательно выуживались сведения, не мастурбирую ли я, няньки и сестры подтвердили, что нет. И тому подобная чепуха. В итоге, вину свалили на Петьку-дистрофика, к счастью, умершего за два дня до импровизированного суда. Меня простили и развязали. Вовчик и Амир поначалу упирали на меня – дескать, он, сука горбатая, виноват, – себя выгораживали, а когда все свалили на Петьку, успокоились.

А Настенька умерла спустя несколько дней, после спешного и неуклюжего аборта. Я тогда пошел в палату и на подъеме болезненных эмоций отвернул литые чугунные шарики, что украшали спинку моей кровати около десятка лет. Я сначала не поверил, что такое возможно. Но похожие кровати с узорными спинками стояли еще в нескольких палатах, только вместо шариков их украшали шишки. Я отломал все шишки.

И я овдовел, понарошку, конечно. Настенькин труп достался родителям, ее увезли хоронить на человеческое кладбище. Им не открыли подлинной причины смерти, сказали: «Внутреннее кровотечение». Сразу после смерти Настеньки я нашел в корзине для грязного белья кровавую простыню. Недолго думая, я решил, что это Настенькина. Я взял ее и похоронил вместо Настеньки на нашем кладбище – просто очень хотелось приходить к ней на могилу. Через пару месяцев горе мое утихло и перестало быть горем. Иногда лишь пощипывало сердце.

7

Как-то ночью мне вздумалось поиграть на аккордеоне. Бахатову тоже не спалось, и он увязался за мной. Начальство недавно отвело мне глухую каморку во флигеле, где я мог репетировать, никому не мешая. Бахатов прилег досыпать на тряпках, а я сел играть.

Послышались шаги и голос Вовчика: «Глостер – хуй в компостер, кончай полуночничать!»

Я отложил аккордеон и повернулся к Вовчику. Что-то в моем лице насторожило его, и он уточнил:

– Или в рыло хочешь?

Я машинально промотал головой отрицательный ответ. Проснулся Бахатов. Всегда лояльный и послуш-

ный, он так вольнодумно посматривал, точно ждал от меня чего-то. Я спросил его обо всем сразу:

– Что?

– Шары, – улыбаясь, сказал Бахатов. Он смотрел на Вовчика, точно видел его впервые. В этот момент Вовчик ударил меня. Я будто выронил зрение из глаз и присел, шаря по полу слепыми руками.

«Вставай, блядь ебанутая, – донесся голос Вовчика, – и в палату, оба!»

Полутемная каморка вдруг озарилась. Мне показалось, что кто-то включил карманный фонарик – может, дежурный врач. Я поднял голову и замер, очарованный. Сиял Вовчик. Сверкающая структура света растворила его тело и одежду. Вовчик увиделся мне состоящим из множества цветowych гранул, прекрасный, как глаз насекомого.

– Шары, – тихо повторил световидящий Бахатов.

Вовчик возвышался надо мной, весь в шариках-блестках. Мои руки жадно потянулись к Вовчику и стали привычно отвинчивать от него шарик за шариком. Он закричал, но крика не было, только пронзительный луч света вспыхнул из его рта, как прожектор. Вспыхнул несколько раз и иссяк. Вовчик померк. Один за другим перегорели светящиеся шарики, потом полопались, как лимонадные пузырьки. На полу лежали бездыханная туша и похожие на майские флажки кровавые лоскутки кожи.

Видимо, мы все-таки нашумели. В каморку зашел Амир. И сразу попытался сбежать. Я воткнул ему в спину растопыренные пальцы и достал ими до позвоночника. Амир рухнул, но продолжал ползти к двери и даже вцепился пальцами в порожек. Подчиняясь звериному инстинкту погони, я поймал его за ногу и резко рва-

нул, до хрящевого хруста. Амир, как ящерица, отбросил ногу. Я подтянул Амира к себе.

Вдруг силы оставили его, он перевернулся на спину и надорванно сказал:

– Тебе пиздец, Глостер, понял? – Он заправил оторванную ногу в штанину и уже целиком отполз к стене.

– Позови врача, сука, – сказал он Бахатову. – Чего ждешь?! – Пот на его лице смешался со слезами. Амир посмотрел на меня каким-то подсыхающим взглядом и прошептал с детской обидой: – Пиздец.. – Боль вытекла из его лица, оно успокоилось и застыло.

Мы оттащили трупы в дальний угол и забросали тряпками. Я отдавал себе отчет, что совершил злой поступок. Но пресловутая совесть меня не мучила, как раньше не мучила ревность. Я убил санитаров не из чувства мести, а, скорее, от удивления. Это было просто открытие возможности.

Я предложил Бахатову разобрать ребят на мелкие части и закопать за интернатом. Бахатов сказал, что, во-первых, ему безразлично, как расфасованы тела, и, во-вторых, ничего закапывать не придется. В течение нескольких дней он обещал все убрать без моей помощи.

Я старался не думать о случившемся. Через два дня Бахатов обгрыз ногти, и тела исчезли. Я ходил проверять и не нашел даже пятнышка крови. Трупы точно испарились. Не склонный к мистике, я решил, что скрытный Бахатов спрятал трупы в какие-нибудь земляные тайники, вырытые им задолго до расправы. Возможно, он утопил их в старых выгребных ямах, только для вида присыпанных известковым порошком, бездонных и страшных. Я спросил Бахатова, куда он дел санитаров. Бахатов ушел от ответа, потом сказал такое, от чего меня опоясал озноб: «Одного отдал колодцу, другого собака съела».

По всей вероятности, Бахатов хотел отпугнуть меня от правды, а я больше и не стремился ее узнать. Ребят, кстати, почти не искали, во всяком случае, в пределах интерната. Считалось, что они самовольно ушли в поселок на дискотеку и не вернулись. Поиски в ближайшей реке ничего не дали. Объявили розыск и забыли.

8

Весной нам исполнялось по восемнадцати лет. Без экзаменов мне и Бахатову вручили бумагу об окончании восьми классов средней школы с поправкой на интеллект и стали готовить к пересылке в город на учебу в профтехучилище. Комиссия, осмотревшая нас, признала, что мы умственно сохранны, социально не опасны и должны находиться среди людей. Это решение диктовалось несколькими причинами: за последний год многие наши перемерли, а новых не взяли. Их все равно не прокормили бы – интернат обнищал. Тяжелых хроников перевезли в другое место, а наше здание отдали иному ведомству.

Игнат Борисович привез робкого фотографа. Тот старался держаться от нас подальше, щелкнул на облезлом синем фоне и уехал. Через неделю мы увидели снимки – не очень удачные. Бахатов вообще не получился, я выглядел каким-то застигнутым врасплох. Даже Игнат Борисович хотел, чтобы нас пересняли, говорил, что такие фотографии в паспортном отделе не примут, но приняли.

Как и двенадцать лет назад, нас снарядили в дорогу, только шапочку на горб я повязал сам. Кастелянша выдала коричневую одежду. Игнат Борисович налил по «пять капель», произнес напыщенный тост, в котором

называл меня и Бахатова оперившимися птенцами, и выразил надежду, что мы с достоинством поведем корабль разума сквозь рифы слабоумия к гавани материального благополучия. Даже в момент расставания он паясничал. Изредка Игнат Борисович оглядывался на вышедший проститься с нами персонал и вскрикивал: «Видит Бог, я не хотел этого!» И возникал вопрос, чего же он не хотел: нести околесицу или отпускать дурачков в город на верную погибель.

За нами не прислали машины, и мы пошли пешком на электричку. Игнат Борисович по телефону просил, чтобы нас встретили в городе, но никто не пришел. Мы были послушными детьми и до вечера простояли на перроне в ожидании кого-нибудь, а затем отправились в общежитие, о котором говорил Игнат Борисович. Я показывал прохожим бумажку с адресом. Они, даже не вчитываясь, проходили мимо или раздраженно отмахивались.

Нет, не такой прием ожидался. Ведь мы считали себя городскими. Когда стемнело, я оглядел Бахатова при ночном электрическом свете и что-то понял. Я упрямил его постоять на одном месте, сам начал спрашивать у людей совета, но тоже не имел успеха. Едва завидев меня, они сворачивали с пути и обходили стороной.

Мы поужинали нашими запасами и продолжили поиски. Я остановился около киоска, где вместо газет продавались продукты, приблизил лицо к окошечку и посмотрел внутрь.

Приятная девушка, сидевшая в киоске, сразу отложила журнал и спросила:

– Что вам?

Я растерялся и невпопад ответил:

– Ничего.

Девушка втянула улыбку и недовольно сказала:

– Не задрочивай! Или покупай, или проваливай...

Я очень не хотел выглядеть дураком. У нас были деньги, причем большие. По сто рублей на каждого. Нам четко расписали бюджет на листочке, и, следуя ему, выданных денег хватало на два месяца еды. А за это время мы получили бы пенсию – третьей группы с нас не снимали – и стипендию. Я порылся в кармане, достал листочек, на котором написали, что нам кушать, и засунул в окошечко, уверенный, что девушка прочтет и снова улыбнется.

– У меня не гастроном, – прошипела она.

– А что? – спросил я с искренней болью.

– Ты больной или обкуренный?! – девушка резко закрыла окошечко.

Я хотел ей все объяснить и зашел в киоск с обратной стороны. Я открыл дверь, но с порога начал заикаться от жуткого волнения. Девушка увидела меня и взвизгнула. Ничего не понимая, я выскочил наружу, девушка следом. Она кричала:

– Сережа! Сережа!

На ее крик первым откликнулся Бахатов, появившись из темноты, как призрак, а уже вторым пришел званный Сережа – плотный мужчина в черной кожаной куртке. Я с надеждой глянул на него и приготовил бутылку с адресом.

– Эти, эти! – девушка кинулась к Сереже, указывая на нас пальцем. Я улыбался недоразумению и подбирал первые слова. Сережа решительно схватил девушку и спрятал за спину. Доморощенный рыцарь Бахатов воспринял это движение как агрессию в ее адрес. Он продолжал думать, что девушка звала его, поэтому чуть взмахнул рукой и притопнул, отгоняя Сережу.

Тут произошло неожиданное. В руках у Сережи появился предмет, похожий на резиновый шланг, которым он ударил Бахатова прямо по голове. И добрый, мухи не обидевший Бахатов упал на землю. Мое удивление быстро сменилось гневом. Я перехватил шланг и разорвал пополам. Только это был не полый шланг, а палка из тяжелой литой резины. Оба обрывка я швырнул в лицо злому Сереже.

Девушка вдруг развернулась и побежала. Чуть помешкав, за ней припустил ее защитник. Я осмотрел запылившегося Бахатова, к счастью, не очень пострадавшего. Он отделался вспухшей гулькой на лбу. Я отряхнул его, и мы побрели дальше.

Через некоторое время я вспомнил, что в киоске остался листочек с инструкцией по питанию. Мы повернули обратно, но уже не нашли того киоска. Мы переночевали в парке на летней эстраде, а утром пошли знакомиться с городом.

9

Опыт обращения с деньгами у нас имелся. Я не раз покупал Игнату Борисовичу в поселке сигареты и пиво, и Бахатов, само собой разумеется, тоже состоял на посылках. Проблема состояла в том, что нам выдавалась сумма без сдачи, к примеру, горстка мелочи, я подходил к прилавку и говорил: «Дайте, пожалуйста, пачку “Лиры”». И, в придачу к сигаретам, мне всегда протягивали несколько карамелек. То есть представление о цене как сложном экономическом явлении у нас было фиктивное, расплывчатое, и поэтому распорядиться деньгами мы не умели.

Навык соотнесения цифры на ценнике с количеством денег в кармане устоялся аж к вечеру. До этого

и в хлебном, и в молочном я протягивал кассирше сразу все наши деньги, чтобы не выглядеть ребенком, платящим копейками или конфетными фантиками. Так не могло долго продолжаться, и мы придумали рискованный, но эффективный способ, опробованный в кондитерских. Бахатов, точно прилетевший с Луны, делал заказ и давал продавщице пару монет. Если продавщица смотрела как убийца, я подоспевал с бумажными деньгами и, отслеживая ее реакцию, выкладывал на прилавок по купюре, пока нам не продавали товар. А после мы считали сдачу и думали. За день мы здорово истратились, но зато многому научились. Я уже точно знал, сколько стоит стаканчик мороженого, бутылка сладкой воды или пирожок с картошкой.

Обилие транспорта, виденного только на картинках или по телевизору, совершенно очаровало нас. Мы несколько часов просто катались на трамвае. Я сидел и на красном кресле, и на сером, то возле окна, то рядышком с окном, и на двойном, и на одинарном сиденьях. Мы бы и больше катались, но на нас слишком обращали внимание.

На перекрестках мы едва не сворачивали шеи, провозая взглядами машины иностранных марок. Каждую такую машину Бахатов называл «мерседес-бенц» – единственное название зарубежной марки автомобиля, которое он знал. Удивительно, как мы не попали под колеса – правила дорожного движения ассоциировались у меня с иллюстрацией в детской книжке: очеловечившийся светофор в форме регулировщика переводит через дорогу отряд малышей и подмигивает зеленым глазом.

Ночевали мы на новом месте, в уютном подвале старого дома. Город был настолько удивителен, что сам, без

предупреждения, карал и миловал. В сухих углах подвала лежали старые матрасы, на гвоздях висела ветхая одежда. Мы нашли даже посуду и остатки еды.

Ночью нас разбудили пришельцы, несколько человек. Когда они зажгли свечу, я увидел, что хозяева подвала – немолодые или преждевременно состарившиеся люди. Среди них находилась женщина, но она мало чем отличалась от своих кавалеров.

Они действительно были все на одно лицо. Так похожи между собой бывали только дауны. Странные люди не разозлились и не обрадовались нашему появлению. Мне показалось, что они не до конца поверили в наше присутствие. Их сознание находилось где-то далеко и оттуда изредка руководило телом; в поведении и в полусонном отношении к жизни чувствовалась немислимая умственная запредельность. Рано утром они поднялись и ушли, тихо переговариваясь на своем курлыкающем голубином языке. Вечером их число уменьшилось на одного, и голоса зазвучали печальнее.

Мне хотелось насыпать им хлебные крошки, как птицам. Бахатов отнес страдальцам полкулька пряников. Пряники они взяли, а его не заметили, точно глаза их потеряли оптическую способность различать человека. Да и в самих обликах существ жила глубокая ископаемость и древность.

10

В тот же вечер в наш подвал заглянул кто-то главный. Он еще с улицы крикнул: «А ну, пошли отсюда, козлы вонючие!»

Пинками он поднял прилегшее стадо человекозавров, и они безропотно встали. Я был уверен, что в го-

ловах ископаемых не было и тени мысли, что гнал их из подвального оазиса человек. Кричащий и дерущийся, он определялся, наверное, как метеорологическое бедствие.

Он уставился на меня и Бахатова и сказал с веселой ноткой:

– А вы, два котяха, чего расселись? Особое приглашение нужно?

Я тоже улыбнулся, голосом успокоил Бахатова, сунувшегося было с пряником к незнакомцу. Он казался самым обыкновенным, с плутоватым лицом, как у сказочного солдата. Меня он сразу окрестил Карпом, Бахатова – Рылом, а себя назвал дядей Лешей.

Я начал рассказывать ему о наших злоключениях, стараясь преподать все в ироническом ключе. Мужик слушал и посмеивался. Я дошел до момента, когда выхватывал у парня, лупившего Бахатова, резиновую палку, и для наглядности взял с пола какую-то трубу, но, естественно, не порвал, а согнул ее.

Дядя Леша даже привстал, повертел согнутую железяку и поощрительно сказал:

– Молодцы, ребята, киоск бомбанули.

Узнав, что мы ничем не воспользовались, дядя Леша просто руками развел. Я еще сказал, что в киоске осталась наша инструкция по питанию. Дядя Леша прямо из себя вышел.

– Да что же это такое в мире творится! – он возбужденно мерил подвал большими шагами. – Сирот грабят! – Потом жалостливо спросил: – Как вы теперь жить будете, если не знаете, что кушать?

Это прозвучало так тревожно... Мы даже забыли, что не умерли от голода, а нормально питались.

– Что делать, что делать? – задумывался вслух дядя Леша. – А может, найти этот киоск проклятый да пот-

ребовать от них: возвращайте, мол, наше, сиротское... – Дядя Леша лукаво и бодро посмотрел на нас. – Заметьте, ребята, идем искать киоск!

На всякий случай дядя Леша принес короткий лонг, пояснив: «Вдруг в киоске никого не будет, а мы что же, даром приперлись».

Действительно, куда бы мы ни приходили, везде никого не было. Я не помнил точного местонахождения киоска, и дядя Леша предложил искать наугад, причем настаивал, что лучше искать ночью. Он придерживался одной неизменной схемы: устанавливал Бахатова неподалеку от киоска со словами: «Если кого увидишь, со всех ног к нам».

Я должен был открывать дверь, а бумажку искал дядя Леша. Меня смущал только один момент, что дверь приходилось взламывать.

– Давай, Карп, давай, – шепотом увещевал дядя Леша, – они, куркули, себе новую сделают...

Я брался за всячий замок и выворачивал его, пока не лопались петли.

– Руки у тебя, Карп, золотые, дал же Бог, – бормотал дядя Леша и проскальзывал в киоск. Там он возился минут десять, вываливался нагруженный, мы относили добычу в наш подвал. За ночь мы обошли пять киосков, но бумажки не нашли. Дядя Леша дал нам денег и еды, пообещав следующей ночью зайти за нами, чтобы возобновить поиски.

Целый день мы гуляли, обедаясь мороженым, катались в парке на каруселях, опробовали все игровые автоматы. За вознаграждение город становился добрым, веселым и гостеприимным. А вечером пришел дядя Леша, и мы отправились в ночной рейд.

Дядя Леша был в прекрасном настроении, он переименовал Бахатова из Рыла в Бахатыча и вообще вел себя как настоящий родственник. Признаться, дядя Леша несколько озадачил меня тем, что вместо киоска он указал на магазин. В нем-то мы точно не забывали нашей бумажки. Дядя Леша без труда переубедил меня, что ее могли спрятать в этом магазине.

Мы подкрались с черного хода. Дядя Леша сказал, что там нет сигнализации. Я очень мягко открыл ломиком дверь, она вывалилась из трухлявой стены, и замки остались целыми. Бахатов остался на входе, а я и дядя Леша зашли внутрь.

Дядя Леша первым делом кинулся к агрегату, похожему одновременно на печатную и счетную машинку, выломал ножом у него дно, выбрал содержимое, и мы пробрались по коридорчику к какой-то двери.

– Давай, родимый, – сказал он.

Дверь выглядела хлипкой, я просто толкнул ее плечом. Комната, куда мы попали, напомнила мне кабинет Игната Борисовича: такой же большой стол и телефон, был телевизор, в углу стоял сейф, но не большой и двухэтажный, а простой.

– Сможешь? – с надеждой спросил дядя Леша.

Я вогнал плоский конец ломика между стенкой и дверцей сейфа – она прилежала довольно плотно, но маленький зазор все же был – хорошенько порасшатывал, потом повторил эту операцию с верхним зазором. Дверца чуть ослабла. Я минут десять возился с ней, вскрывая по периметру. Наконец, я расшатал ее настолько, что смог поддеть ломиком сбоку, где замок, и открыть. В сейфе, кроме толстых папок, было несколько пачек с деньгами, их взял дядя Леша.

– А теперь мотаем отсюда, – быстро сказал он.

На выходе дремал Бахатов. Дядя Леша страшно разозлился, даже хотел треснуть его, но посмотрел на меня, остановил руку и усмехнулся:

– Устал, наверное, твой дружбан. Понимаю...

Остаток ночи и следующие два дня мы провели в гостях у друзей дяди Леша. Пока мы ехали к ним на квартиру, дядя Леша предупредил, чтоб мы больше помалкивали, а говорить будет он.

11

Машина привезла нас к частному дому. Дом окружал высокий забор из железных прутьев. Вместо калитки стояли солидные деревянные ворота с врезным окошечком и даже с кнопкой электрического звонка.

У дяди Леша, когда он расплачивался с водителем, было щедрое лицо. Машина уехала, дядя Леша еще раз напомнил нам о правилах хорошего тона и позвонил. Человек, впустивший нас, вначале посмотрел в окошко, а только потом открыл дверь.

Мы прошли по асфальтовой дорожке к дому. Во дворе был накрыт стол, за ним сидели многочисленные друзья дяди Леша. Двое поблизости жарили на костре мясо. Женщина, может, жена хозяина, вынесла блюдо с новой едой и опять ушла в дом.

Наше появление вызвало некоторое оживление у сидящих за столом. Дядя Леша развязно представил нас: «Вот Карп, вот Храп», – так он переименовал Бахатова, и мы сели на пустые места. Дядю Лешу друзья называли тоже по-другому. Памятуя о просьбе, мы не задавали вопросов, а больше налегали на незнакомые бутерброды. Нам налили по полстакана водки, дядя Леша незаметно кивнул, чтоб мы выпили. Водка, как ножницами,

отрезала меня от общего разговора, я расслабился и отделился от мыслей. У Бахатова с лица сошло напряжение, но выглядел он каким-то зловещим.

Дядя Леша, тем временем, смеялся и хвастал. Что-то он рассказывал и про меня, поглядывал в мою сторону и подмигивал. Тогда все друзья дяди Леша тоже смотрели в мою сторону, посмеивались и недоверчиво качали головами. Кто-то протянул мне металлическую монету и сказал: «Согни!»

Я взял монету, а Бахатов неожиданно запел: «Советский цирк, он самый лучший в мире цирк», – выбивая на столе маршевую дробь. Это было очень на него не похоже.

Я сложил монету пополам и, поскольку от меня не отводили глаз, поднапрягся и сложил вчетверо.

– А ты, Карп, не карась, – весело сказал друг дяди Леша, и нам опять налили водки. Я захмелел, но все-таки успел заметить, что люди за столом сменились. Появились несколько женщин, молодевших с каждой минутой.

Потом начался какой-то бред, я зажмурился, но продолжал видеть. Окружающее окрашивалось только в синий фон. Вскоре синева сошла, и я забыл и запутался, какой мир зажмуренный, а какой настоящий. Если бы я чувствовал веки, то разобрался бы, где что. Но я не ощущал их, а просто смотрел изнутри наружу. Иногда я натыкался взглядом на Бахатова, на дядю Лешу, и по лицам их пробегала водяная рябь, пока они не растворились и воздух замер, чуть покачиваясь.

Оставшаяся картина представилась мне управляемым сном. Для пробы я запустил в него Игната Борисовича, только тихого и совсем пьяненького. Потом я позволил появиться убиенным Вовчику и Амиру. Они

уселись, скромные и стеснительные, даже не взяли себе поесть и выпить.

Женщину напротив я преобразовал в Настеньку. Она все смеялась и вдруг побежала, я за ней. Она скрылась в доме, я вбежал туда и увидел ее на винтовой лестнице. Не попадая ногами на ступеньки, я продолжал шуточную погоню.

Моя случайная Настенька увлекла меня в какую-то каморку на верхнем чердачном этаже и, изможденная, рухнула на скособоченный диван. Я упал на нее сверху. Она начала отпихивать меня и заговорила хрипловатым, грубым голосом:

– Отстань, дурак, я пошутила!

Я задрал ей платье, она шикнула:

– Я мужиков позову!

Меня рассмешила эта угроза, я уточнил:

– Муравьев позову?

Настенька сразу притихла. Из-под дивана показались Вовчик и Амир, я только глянул на них, они съжились от страха и попрятались.

– Ну же! – торопила ставшая смирной Настенька. – Кто-нибудь придет...

Я освободил от штанов мою жилистую страсть, и наступило беспамятство.

Проснулся я потому, что кто-то тряс меня за плечо. Это была полная немолодая женщина, и она говорила с легким испугом:

– У кореша твоего, кажись, «белка» началась, пойди посмотри!

Мы спустились во двор. Я сразу понял, что взволновало ее. Бахатов в профиль действительно напоминал белку. Он стоял лицом к заходящему солнцу и читал нараспев, подсматривая в обрывок газеты, об экономических

достижениях новых фермерских хозяйств Черкасской области. Бахатов закончил читать и начал обкусывать ногти, отчего сходство с белкой еще более усилилось.

Чтоб не мешать Бахатову, я увел женщину в дом. Там я поинтересовался, где дядя Леша и остальные. Она сказала, что все разошлись еще с прошлого вечера, а я проспал почти сутки.

Показался чуть измученный Бахатов и сказал, что нужно уходить. Я уловил в его голосе двусмысленность – ногти что-то подсказали ему, и он торопился. Мы простились с хозяйкой и куда-то заспешили.

12

Бахатов уверенно вел меня по одноэтажным улицам, пока дома не выросли до размеров городских. На шумном транспортном перекрестке Бахатов остановился, как будто пришел. Мимо проехал троллейбус, за ним милицейская машина, которая и тормознула возле нас.

Милиционер спросил, кто мы и что здесь делаем. Я, наверное, в тысячный раз, достал бумажку с адресом общежития. К нам отнеслись сочувственно и пригласили сесть в машину. Мы ехали, Бахатов глазел по сторонам, а я рассказывал, как мы заблудились и никто нам не хотел помочь, что ночевали в подвале. О дяде Леше я благополучно не упоминал. Тогда пришлось бы признаться, что мы, разини, потеряли пищевую инструкцию. И про вечеринку у друзей дяди Леша тоже не хотелось говорить, впутывать, пусть мертвую и призрачную, Настеньку.

Нас привезли в отделение, разместили в пустом изоляторе, принесли поесть. Через некоторое время за нами пришел охранник и отвел в кабинет к начальнику. Там уже находился взволнованный и такой родной Иг-

нат Борисович. При нашем появлении он даже подскочил на стуле и вздохнул прямо сердцем.

– Ваши? – спросил из кресла начальник.

– Мои, – ответил Игнат Борисович.

Начальник сделал знак, чтобы мы вышли. Из коридора было слышно, как он отчитывает Игната Борисовича, а тот деликатно оправдывается. Минут двадцать они искали виноватых. Игнат Борисович звонил в психоневрологический диспансер и выяснял, почему нас не встретили. Там понервничали и быстро нашли козла отпущения. Кому-то пообещали строгий выговор, кого-то лишили копеечной премии, и на этом дело закончилось. А нас доставили в психиатрическую больницу для проживания и очередного переучета мозгов. Полагалось, что мы не оправдали доверия, оскандалились, хваленые умники.

Потянулись долгие дни очередного врачебного освидетельствования. В этот раз за нас взялись основательно – тестировали по полной программе. Впрочем, процедура была знакома нам с детства. Многие задания мы давно выучили наизусть. На каждый вопрос я имел по несколько ответов, от явно безумных до парадоксальных по глубине мысли. Я мог манипулировать вариантами и, в зависимости от преследуемой цели, прикинуться или, наоборот, произвести хорошее впечатление.

Поначалу мне задавали вопросы типа –кто я: мальчик или девочка, у кого больше ног: у собаки или петуха, когда я завтракаю: вечером или утром, какое сейчас время года и другие глупости. Дальше вопросы пошли интересней: что такое кибернетика, из чего делают бумагу, сколько существует континентов, кто написал музыку к балету «Лебединое озеро», чем объясняется смена дня и ночи. Нам показывали картинки и силуэты,

а мы отвечали, что на них нарисовано. Некоторые картинки были с ловушками: водолаз, поливающий под водой морские цветы, женщина, говорящая по телефону без шнура. Мы указывали на нелепости в картинках.

Потом, по просьбе врачей, я считал от единицы до двадцати, пропуская каждую третью цифру, называл месяцы в обратном порядке. Очень мне понравилось задание, в котором нам давалось начало предложения: «Уверен, большинство мужчин и женщин...», «Больше всего люблю тех людей, которые...», «Самое худшее, что мне пришлось совершить, это...», – а мы заканчивали.

Поэтичный Бахатов отвечал удивительно. Чего стоил его пересказ истории о человеке, у которого курица несла золотые яйца. Человек решил, что в курице полно золота и зарезал ее, а там было пусто – такие нам рассказы читали.

Бахатов переиначил историю на свой лад: «Один хозяин – птицевод с собственническими тенденциями – не смотря на факт, что курица несет золотые яйца, – а золото имеет большое значение на мировом рынке и является большим подспорьем в сельскохозяйственной индустрии – зарезал ее, что противоречит морали, гласящей: не поступай как варвар в поисках того, чего нет».

Из новенького было рисование пиктограмм. Нам предлагалось сделать условный знак «безутешной скорби», «сытного ужина». Первое словосочетание я изобразил в виде могильного креста и циферблата часов. Для второго словосочетания я тоже взял циферблат, но в виде надкушенной тарелки, а в ней ложка и вилка. В обеих пиктограммах часы символизировали непрерывность и длительность.

Вскоре до нас дошли слухи, что врачи склоняются к мысли вообще снять меня и Бахатова с инвалидности.

«В городе они потерялись! Большое дело! Да я сам из деревни! – кричал председатель комиссии, профессор. – Я, когда впервые в город попал, думал, что по телефону можно звонить, номера не набирая – трубку поднял, и все. А теперь ничего, освоился!»

Вечером мы с Бахатовым держали совет. Нам совсем не хотелось полностью лишиться финансовой поддержки. Инвалидная пенсия, хоть и маленькая, могла кое-как прокормить, но, с другой стороны, перекрывала путь во многие сферы общества. После долгих раздумий мы нашли золотую середину. Бахатов решил остаться на инвалидности, для подстраховки. Я отважился идти в большую жизнь.

Все точки над «и» мы расставили следующим утром, на задании по исследованию ассоциаций. Я старался пользоваться так называемыми высшими речевыми реакциями. Мне говорили: «Стол», – я отвечал: «Деревянный». «Река?» – «Глубокая». Или отвечал абстрактно: «Брат – родственник, кастрюля – посуда».

Бахатов поступал по-другому. Ему говорили: «Карандаш». Бахатов, щурясь, спрашивал: «Где?» Ему говорили: «Мама», – он рифмовал: «Рама». А потом сделал вид, что устал, и на все вопросы урчал: «Мурка, мурка», – и пожимал плечами. Поскольку раньше он вел себя вполне адекватно, такое поведение было расценено как психопатическое.

Только на силлогизмах Бахатов укрепил комиссию во мнении, что таки страдает легкой олигофренией. К примеру, давалась следующая посылка: «Ни один марксист не является идеалистом. Некоторые выдающиеся философы не являлись марксистами, следовательно...» Я отвечал: «Некоторые выдающиеся философы были идеалистами».

Бахатову говорили: «Все металлы – проводники электричества. Медь – металл, следовательно?» И вместо очевидного: «Медь – проводник электричества», – Бахатов выдавал: «Надо расширять добычу металлов, меди, чтоб промышленность развивалась».

Своего мы добились. Меня, в статусе абсолютно нормального, приписали к ПТУ при строительном комбинате. Бахатову сохранили инвалидность и записали на тот же первый курс, что и меня. Нас не хотели разлучать.

13

Предполагалось, что летом мы будем постигать сантехническую премудрость в местном жэке на должности подмастерьев, а осенью приступим к учебе. Комната, которую нам выделило общежитие, была просто замечательная. Там даже стоял телевизор.

С утра мы подходили в жэк к мастеру Федору Ивановичу. В первую встречу он принял нас по-стариковски сварливо, но скоро выяснилось, что это сердечный человек, хоть и горький выпивоха. Мы сработались. Старик не докучал нас теорией и не злоупотреблял практикой. Иногда он брал нас на вызовы, и если за труд ему давали зеленый трояк или синюю пятерку, всегда делился.

Наука, что он преподавал, казалась нехитрой. Я быстро овладел сборкой-разборкой кранов отечественных конструкций. Бахатов предпочитал финские и чешские системы. Но это была верхушка профессии. Суть дела, не сразу понятная, была в том, чтобы починять, ломая. Именно эту концепцию ремонта терпеливо, но твердо вдалбливал наш учитель.

Подлинное мастерство состояло не в халтуре: старая прокладка вместо старой или подтекающий стояк на

место исправного. Федор Иванович учил нас презирать такой труд. Сам он работал виртуозно и от нас требовал фантазии и полета. Я хорошо запомнил характерный пример.

Федора Ивановича вызвали осмотреть газовую колонку – у хозяев не нагревалась вода. Старик внимательно оглядел аппарат, разобрал, постоял, крепко задумавшись. Потом вздохнул и сказал, что имелся-де у него финский металлизированный гибкий шланг – «для себя покупал». Хозяева дают ему червонец. И вот мы втроем идем за чудо-шлангом, не спеша, с достоинством, туда и обратно. Обрадованные хозяева благоговейно глядят на этот фирменный шедевр. Федор Иванович смотрит на часы, говорит: «У нас обед, шланг поставим завтра».

Хозяйка проворно накрывает на стол, Федору Ивановичу подкидывают еще пятерку за труды, и он быстро и безупречно ставит шланг на колонку. Вода нагревается. Мы выходим на улицу, Федор Иванович смеется: «Учитесь», – мы недоумеваем, а он объясняет: «Гибкий шланг от горячей воды деформируется, вроде как засоряется, мы еще не раз придем его менять!»

В такие удачные дни старик бывал счастлив. Мы накупали гору вкусных вещей, водки, пива и устраивали настоящий пир. И тогда я верил, что мы – одна семья.

Федор Иванович частенько поругивал меня за бесхитрость, хоть и уважал мою способность отвинчивать без ключа сорванные гайки. «Ты, Санек, – говорил он мне, – на таких фокусах много не заработаешь, ты глобальной мысли».

Когда через год я навестил его, он сказал мне: «На свою пианину особо не рассчитывай, мало ли что. По клавишам стучать – дело глупое. Главное, – поучал чудный старик, – чтоб в руках профессия была!»

Благодаря Федору Ивановичу, телевизору и газетам мы быстро ознакомились с правилами жизни в городе – они постепенно усвоились нашим сознанием. В свободное время мы гуляли и не боялись заблудиться. Стояли жаркие дни, мы ходили на реку, загорали, неумело бултыхались. Вечера проводили в кинотеатре или в видеосалоне.

14

Однажды я поехал в центр без Бахатова, искал универмаг и, случайно проходя мимо какого-то здания, услышал, что оно просто начинено музыкой, звучащей из каждого окна в исполнении различных инструментов, духовых и смычковых. Доносились поющие голоса – красивые и не очень. На первом этаже играл рояль, через окно еще один, их исполнение накладывалось друг на друга. Это были не связанные между собой отрывки, но они сплетались в специфический оркестр.

У меня даже зачесалась спина от возбуждения. Я, от природы ужасно стеснительный, не смог побороть искушения и зашел. Внутри царил неразбериха. Носились молодые люди: парни и девушки, наэлектризованные и быстрые, шумели всклокоченные взрослые дядьки, басили исполненные особой важности дамы. Над всем этим пиликали сотни скрипок и виолончелей, тренькали мандолины, гнусавили далекие и близкие баяны.

Я, как обычно, вызвал к себе интерес, но не пристальный, и мне удалось затеряться. Гул носился по коридорам, точно поднятая пыль. Я выделил из него рояль и устремился на звук, пока не вышел к хвосту людной очереди, упирающейся в большую черную дверь. Оттуда пробивались дивные пассажи.

Рояль смолк, дверь приоткрылась – приглашали нового исполнителя. Тот, кто играл раньше, вышел весь взмокший. Его облепили нервные молодые люди и стали засыпать завистливыми от страха вопросами. Не знаю почему, я решил остаться и принял вид участности к этому конвейеру исполнителей. Никто из присутствующих не возражал. По мере того как подходила моя очередь, мне прояснилась суть происходящего. Я понял, что попал на вступительные экзамены.

Я смутно представлял себе, что буду делать и говорить, если меня спросят, по какому праву я ввалился. Но очень хотелось сесть за рояль. Такой возможности могло долго не повториться. Я решил, что, независимо от дальнейших событий, успею поиграть на настроенном профессиональном инструменте. Я приготовился подскочить к роялю, быстро поиграть, извиниться и уйти.

Свои музыкальные силы я оценивал трезво. Я не касался клавиш с момента нашего отъезда из интерната, то есть почти два месяца. О хорошей беглости нечего было и говорить. Вдобавок ко всему я не знал ни одного музыкального произведения в оригинале – все подбиралось по слуху и, наверное, с некоторыми отступлениями от нотного текста подлинника. В импровизациях собственного сочинения я почему-то засомневался. Я остановил свой выбор на произведениях, которые играл до меня один парень. Мне показалось, что я запомнил их до единой нотки, а какую-то пьеску я неоднократно слышал по радио.

Наконец дверь открылась и мне разрешили войти. Я проследовал в угловатую комнатку с занавесом вместо боковой стены. Через высокий, будто юбочный разрез занавеса просматривалась сцена с роялем.

Зал был почти пуст. Стояли два сдвинутых стола, за ними сидели человек шесть комиссии. Над их головами

нависал балкон, я глянул на него и похолодел – там было полно народу. Я вышел, как из плюшевого чума, и каким-то мятным от волнения голосом выговорил: «Абитуриент Глостер», – и резво проковылял к роялю.

Чтобы опередить все уместные вопросы, я начал играть. Сразу же появилось первое неудобство. Строй старенького интернатского пианино разительно отличался от строя концертного рояля. В моей памяти за определенной клавишей хранился соответствующий звук. Здесь клавиши и прячущиеся за ними звуки не совпадали. В итоге получалось не совсем то, что я намеревался представить. Я растерялся, но, не прекращая игры, съехал на импровизацию и кое-как на одном крыле дотянул до аэродрома. Меня не прервали.

На второй вещи я вполне освоился с клавиатурой. Я разогнался мелодией до такой скорости, пока она не стала контролироваться спиной. Как слепой, я вскинул голову. Зрение ушло из глаз, но налачился умственный контакт с воображаемым музыкантом из горба. Он подхватил мелодию, повел за руки, и залежи моей грустной жизни брызнули новыми звуками, потекли через пальцы на клавиши спинномозговой сонатой.

Я остановился, промокнул о штанины ладони. На балконе раздалось несколько хлопков.

Женщина, сидящая в комиссии, сказала:

– Я не нашла вашей фамилии в списках.

В сущности, этим должно было кончиться. Я встал, мой скрюченный контур, очевидно, приняли за поклон, и на балконе снова заплодировали. Я предпочел поскорее уйти, потому что и так удовлетворился.

Женщина крикнула мне вслед:

– Наверное, какая-то ошибка!

«Никакой ошибки», – полувслух, полумысленно ответил я, прибавил ходу и выскочил за дверь. К счастью,

никто не выяснял у меня, как прошло выступление; провожаемый любопытными взглядами, я заспешил по коридору.

Я хорошо помнил обратную дорогу и уже почти улизнул, но на выходе меня окликнул властный мужской голос:

– Глостер, подождите!

Я оглянулся. По центральной лестнице тяжелым галопом спускался крупный мужчина лет пятидесяти – один из тех, кто сидел за столом в зале.

Он подошел ко мне и первым делом сердито выпалил:

– Что я, мальчик – за вами бегать?! – Глаза его под очками сверкнули колючими искрами. В этот момент он окончательно разглядел меня и сказал на тон мягче: – Ну, чего вы испугались? Вы неплохо играли и понравились комиссии. Вам задали обычный канцелярский вопрос, это совсем не значит, что надо срывать экзамен.

Я промолчал, привычно чувствуя, как ползет по моей круглой спине его жалостливый и удивленный взгляд.

– Что-то случилось? – спросил мой преследователь. – Вы передумали поступать? Нет? Тогда в чем дело?

– А какие документы нужны, чтобы поступить к вам? – спросил я.

У моего собеседника не только брови, но даже щеки изобразили глубокое удивление:

– Вы не подавали документов?

– Нет, – удрученно признался я.

– Очень хорошо, – он снял на минуту очки и оглядел меня уже босыми и, наверное, поэтому беспомощными глазами. – Тогда зачем вы к нам пожаловали?

– Я только хотел поиграть на рояле, – выложил я свою аляповатую правду.

– Где вы раньше занимались?

– Нигде.

– Тогда с кем? Я имею в виду, у кого вы учились?

– Ни у кого. Я сам научился.

– Изумительно, – мужчина деловито потер ладони. – Следующий вопрос: что вы играли? Шопена – не Шопена, Рахманинова – не Рахманинова.

– Не знаю, – поскольку действительно не представлял, что изобразил.

– Как же вы тогда играли?

– Передо мной ребята кучу вещей исполняли. Что-то запомнил, что-то придумал.

Мы продолжили разговор на улице. Мужчина сказал, что его зовут Валентин Валерьевич. Он размашисто разжег сигарету, затем посмотрел на часы и отмахнулся от них:

– В двух словах – откуда вы приехали, в общем, коротко биографию.

Я рассказал про интернат, без бытовых подробностей – в основном про старенькое пианино в каморке папы Игната. Чуть-чуть о нашем переезде в город. Я не скрыл подозрений общества о моей нормальности и с тем большей гордостью заверил, что не псих. Валентин Валерьевич сразу успокоил меня, что никогда бы так не подумал.

– А почему вы не подготовили какое-нибудь произведение конкретно? – вдруг спросил он.

– Потому что ничего конкретного я не разучивал, а играю только то, что когда-нибудь слышал и запомнил.

– По слуху?

– Да, а как еще можно...

– Без нот? – как бы уточняя нечто абсурдное, спросил Валентин Валерьевич.

Увы, я не знал нотной грамоты. Названия «до», «ре», «ми», «фа» были мне знакомы, но существовали без смыслового наполнения.

Валентин Валерьевич за секунду принял какое-то решение и сказал:

– Вот что, Глостер, приходите через два дня прямо сюда, когда закончатся экзамены, – он протянул мне картонный прямоугольник. На нем я увидел крупные позолоченные строчки «Валентин Валерьевич» и «Декан». – Здесь мой рабочий телефон, звоните, когда вздумается. Сегодня у нас что? Среда. Значит, в пятницу в десять утра я жду вас в своем кабинете. Спросите у вахтерши, как пройти. Договорились? Уверен, мы что-нибудь для вас сообразим. Кстати, – он достал из кармана блокнот, – как вас по батюшке?

У меня и Бахатова имелись одинаковые, чисто формальные отчества: мы оба были Игнатовичи. Остроумный Игнат Борисович, следуя традиции римских патрициев, дал нам как вольноотпущенникам свое имя.

– Очень хорошо, Александр Игнатович, так и запишем, – сказал Валентин Валерьевич и впервые за нашу беседу позволил себе улыбнуться. – До встречи.

Я сказал «спасибо» четыре раза и побежал искать универмаг. Дома я поделился впечатлениями с Бахатовым. Тот покивал и погрузился на дно своих мыслей. Бахатов умел быть иногда удивительно холодным. Впрочем, он готовился к завтрашнему дню и медитировал над ногтями. Я оставил его в покое и улегся перед телевизором тешить свою радость изнутри. Бахатов сидел прямой, как факир, и глаза его излучали змеиную мудрость.

– В пятницу все будет хорошо, – неожиданно сказал он и улыбнулся родительской улыбкой. Тогда мне по-

казалось ошибочным мое представление, что это я при-
сматриваю за Бахатовым.

15

Так и случилось. Валентин Валерьевич приветливо встретил меня утром, спросил о самочувствии и как я провел время, а сам тем временем поставил на стол магнитофон.

– Вот, послушай, – он нажал кнопку, и заиграл быстрый рояль. Произведение закончилось, Валентин Валерьевич хитро посмотрел на меня и спросил: – Сможешь повторить?

Мы прошли в кабинет, где стоял инструмент. Валентин Валерьевич снова прокрутил запись, но мне хватило бы одного прослушивания. Я сел за рояль и начал играть.

– Фантазируешь! – крикнул Валентин Валерьевич. Я исправился, хотя мой вариант мне нравился больше.

– А теперь верно!

Я доиграл, Валентин Валерьевич выглядел очень довольным.

– Ну что, поехали дальше, – сказал он.

Вторую вещь я исполнил с минимальными авторскими отступлениями, и Валентин Валерьевич похвалил меня. В общей сложности мы прослушали пять композиций.

– До понедельника отрепетируешь, – сказал Валентин Валерьевич. – Магнитофон, если хочешь, возьми с собой или оставь здесь. Ключ я тебе даю, приходи и работай.

И начались замечательные дни. Я наслаждался по десять часов кряду. К необходимому понедельнику

я наловчился так, что мог играть заданные произведения наизнанку.

В понедельник меня слушали, кроме Валентина Валерьевича, внимательный человек из городского отдела народного образования и директор специализированной музыкальной школы-десятилетки, приятель Валентина Валерьевича. Я отыграл программу, меня поблагодарили и в коридор не отправили. Я почувствовал, что это добрый знак, раз моя дальнейшая судьба обсуждается в моем же присутствии.

Вначале высказался Валентин Валерьевич, потом директор школы. Они говорили обо мне только хорошие слова. Человек из отдела образования заявил, что не видит никаких препятствий тому, чтобы я учился музыке, и пообещал подписать соответствующий указ и все уладить. Валентин Валерьевич поздравил меня, а директор сказал, что я теперь учащийся девятого класса специализированной школы-интерната для музыкально одаренных детей.

Все сложилось без моего участия. Документы из канцелярии ПТУ переслали в канцелярию школы, мне выделили койку в общежитии. До осени ребята разъехались по домам, и я жил в комнате один. Кто-то из преподавателей школы согласился подтянуть меня за лето по теории. Сам я взял в библиотеке «Практическое руководство по музыкальной грамоте» Фридкина и, на всякий случай, вызубрил.

Единственной моей проблемой был Бахатов. Я просил у директора позволить Бахатову жить вместе со мной в общежитии музыкальной школы, но директор сказал, что это запрещено законом.

Я не представлял, как отреагирует Бахатов на разлуку, и осторожно сообщил ему, что нам придется впер-

вые за долгие годы ночевать порознь и видаться только днем. Бахатов в очередной раз поразил меня своим спокойствием и даже некоторым равнодушием. Сантехнический гуру Федор Иванович выхлопотал для него полноценное рабочее место в жэке, и, кроме этого, его временно прописали в незанятой дворницкой. У Бахатова появилось собственное жилье с крохотным санузлом и кухонькой.

16

Жизнь налаживалась. Больше чем на сутки мы не разлучались. Я приезжал к нему в гости, он ко мне. Я рассказывал о своих музыкальных событиях, он посвящал меня в приоткрывшиеся ему тайны финских ручкомойников. Мне почему-то сразу вспоминались сказки Андерсена или хрустальный и холодный скандинавский Север, а Бахатов представлялся пушкинским Финном, оперным волхвом.

Я довольно быстро освоил игру с листа. Это оказалось не труднее, чем чтение вслух. Когда звуки обрели графические оболочки, я смог проигрывать произведения без инструмента, внутри себя. Ноты походили на кнопки, приводящие в движение потаенные клавиши, и внутренние молоточки стучали по внутренним струнам. Со временем я пристрастился читать партитуры как романы. Такое чтение дарило свою особую, неслышимую прелесть, сравнимую разве с оглохшим торжеством обладателя плеера. Я напоминал себе такого счастливого владельца пары невидимых наушников.

Учебы, собственно, у меня уже не было. Меня не терзали общими дисциплинами. Основное время я проводил за роялем, даже не успел толком познакомиться-

ся с моими одноклассниками. Сентябрь и половину октября я посещал занятия, а потом совершенно случайно попал на конкурс местного значения.

В первом туре я представил этюды Шопена. Сыграл недурно, чувствуя вдохновение из спины. Звенел каждый хрящик, пел каждый позвонок, звуки лились как слезы. Мне очень долго хлопали. Растроганный приемом, я удалился за кулисы. Вдруг послышались чугунные командорские шаги, чей-то громовой голос, румяный богатырский бас пророкотал:

– Да где же он, этот ваш новый Рихтер? Покажите же мне его!

Я увидел человека исполинского роста.

Он тоже заметил меня:

– Вот ты где, голубчик ты мой! – стремительно подошел ко мне и порывисто обнял, потом на мгновение освободил, чтобы погрозить кулаком невидимому врагу. – Нет, не вымерла еще Россия! – и опять заключил в объятия. В глазах его стояли настоящие слезы. – Ну, здравствуй! – сказал он мне, как будто мы встретились после томительной разлуки. – Я – Тоболевский, Микула Антонович, – великан земно поклонился.

Я заметил, что мы сразу оказались в центре внимания. Тоболевский, казалось, сознательно эпатировал закулисную публику. Он буквально стягивал взгляды. В его манере не говорить, а мелодекламировать, громогласно и вычурно, не чувствовалось особой фальши. В фактуре Тоболевского удивительно сочетались добродушие и мощь ярмарочного медведя с духовным порывом помещика, отравленного демократической блажью. Сходство с добрым барином усиливала холеная, превосходной скорняжной выделки борода, черная, со змеистыми седыми прядями. На Тоболевском был фрак, но вместо

фрачной рубахи он надел вышитую, русскую. Под горлом у него красовался атласный махаон с бриллиантовой булавкой. Тоболевский источал пряничную, с глазурью, энергию. Ей невозможно было не поддаться.

Тоболевский тормозил меня, что-то спрашивал, я невпопад отвечал. За время нашей суматошной беседы он еще несколько раз то грозил потолку, то коротко рыдал в кулак. Потом он вскричал: «Едем!» – и бесцеремонно выволок меня на улицу.

Я не очень удивился тому, что самая роскошная из припаркованных машин – белый лимузин – принадлежала ему. Проворный водитель открыл нам дверь, и мы уселись на заднее бегемотообразное сиденье. Перед нами стоял столик, тисненый перламутровыми разводами, на нем поднос с графином и две рюмки.

– Выпей, золотой мой человек, – жарко сказал Тоболевский, хватаясь за графин. Я выпил, чуть закашлявшись от спиртовой, на горьких травах удавки.

– Полынь-матушка, – усмехнулся моей вкусовой гримасе Тоболевский, еще раз наполнил рюмки и крикнул водителю: – Жми!

Лицо его сияло вдохновением и благотворительностью.

Мы приехали в ресторан под названием «Тройка». К Тоболевскому сразу подскочил приткий администратор, одетый дореволюционным приказчиком, с прямым холуйским пробором:

– Хлеб-соль, Микула Антонович, милости просим.

Пока Тоболевский о чем-то договаривался, я осмотрелся. Зал ресторана был стилизован под русскую горницу, в золотых петушках, с многочисленными декоративными деревянными падугами. Стены и пол украшала мозаика, выложенная по сюжетам былин, с витязями, лешими и горынычами.

Задник сцены изображал птицу Сирина с развратным женским лицом и вызывающим бюстом. Птица состояла из множества электрических лампочек, которые, то зажигаясь, то затухая, делали птицу живой. Она подмигивала, открывала круглый рот и шевелила грудью.

Для поддержания стиля девушки-официантки носили кокошники. Стыдливые, до щиколоток, рубахи им заменяла импровизированная конская сбруя. На сцене играл живой оркестр, но исполнял он вовсе не русские народные песни. Звучала современная эстрадная мелодия, и хрипучий солист утробно докладывал о любви. Он спел, и, поскольку дальнейших заказов не последовало, оркестр заиграл медленный мотив. На пространство перед сценой лениво выползли тучные пары и затоптались, поворачиваясь по кругу, как шестеренки в часах.

Я помаленьку пьянел. Графинчик с полынной настойкой мы выдули еще в машине. Потом Тоболевский неоднократно заказывал выпивку, произнося тосты один за другим. Скатерть не вмещала всей замысловатой снеди. Из многочисленных посудин с остроконечными крышками выстроилось подобие кремля с курантами на литровой бутылке. Оскаленная пасть гигантской твари, наверное, осетра, напоминала лик дьявола из ночного кошмара.

Тоболевский что-то выкрикивал, а я сидел, тупо уставившись в мерцающий контур сириной груди. Лампочка, создающая эффект соска, перегорела, я смотрел в эту пустую точку и слизывал с пальцев прилипшие черные дробинки икры. Потом я понял, что Тоболевский скандалит с музыкантами. Он стоял возле сцены, нешуточно возмущался: «Бездари! Твари!» – и потрясал кулаками. Музыканты, тем не менее, продолжали иг-

рать. Они в такт пританцовывали, и создавалось впечатление, что они просто уворачиваются от грубых слов. Тоболевский сорвался с места и стал стаскивать их со сцены, раздавая пинки. Распорядитель стоял по стойке смирно и угодливо улыбался:

– Ну, будет вам, Микула Антонович, хватит с них!

– Нет, не хватит! – рычал разбушевавшийся Тоболевский. Он взобрался на сцену, поймал за загривок бесильного пианиста и принялся тыкать его носом в клавиши. – Это не твое место, погань!

Пианист капризничал и вырывался, что приводило Тоболевского в еще большую ярость. Он уже собрался прибить бедного лабуха рояльной крышкой, но вдруг передумал. Он ослабил хватку, вздернул беднягу как марионетку и, управляя его кукольной головой, развернул ее в мою сторону:

– Вот кто здесь сидеть должен!

Пианист, соглашаясь, закивал, не известно – по своей воле или по распоряжению руки Тоболевского. На его счастье, расторопный распорядитель, не спускавший глаз с Микулы Антоновича, организовал общую просьбу: «Просим, просим!» – и из разных углов зала послышались редкие всплески аплодисментов. Я встал, чтобы проследовать на сцену.

Из-за соседнего столика неожиданно свесился мужик и, поймав меня за рукав, сказал, явно от переизбытка хамства:

– Давай, скрюченный, слабай что-нибудь!

Новый опыт подсказывал мне, что человека с такими замашками можно ставить на место без боязни последствий. Я ударил его ребром ладони по горлу, он подался разбитым кадычным хрящом и рухнул на пол. Падение сопровождалось колокольным звоном битой

посуды. К нему подскочили несколько охранников, переодетых а la Садко, и вынесли из зала. Я триумфально сел за освободившийся инструмент и, учитывая специфику публики, стал наигрывать вариации на цыганские и бандитские шлягеры. Мне устроили бурную овацию.

17

Я довольно быстро сдружился с Тоболевским. Драка в ресторане этому только способствовала. Со временем я кое-что узнал о его жизни. Тоболевский работал финансовым магнитом или магнатом. Деньги шли к нему отовсюду. По-настоящему его звали Николаем. Миккулой он назвал себя сам, по каким-то соображениям. Я относил Тоболевского к тому удивительному типу русских людей, способных проиграть в карты жену и погибнуть на баррикадах, отстаивая независимость захудалой африканской республики. Иногда мне казалось, что он воевал в Афганистане, но возраст его не вполне соответствовал этой войне. Было в нем что-то и от уголовника, но Тоболевский не сидел. Он производил впечатление образованного, нахватанного во многих областях, но иногда поражал вызывающей детскостью своих суждений и поступков. В такие минуты я задумывался, как он сумел заработать миллионы и, кроме того, сохранить их. Объяснения не подворачивались, и приходилось признать, что все его великорусское кликушество, экстравагантность, парадоксальность – только части хитрой, тщательно, до мелочей просчитанной игры. А может, просто всемогущий фарт вел Тоболевского.

В народе его любили, прощали ему и богатство, и лимузин, и трехэтажный дом, и, по слухам, виллу в Ницце. Тоболевский нарочито не сторонился простого люда. Он выходил из машины поболтать с народом о тя-

годах и скорбях, при этом, разумеется, плакал. Давал деньги на строительство приютов, больниц и храмов. Для таких акций он всегда подключал телевидение, выступал с обличительными речами, а по бокам ставил либо стелы, либо кресла с паралитиками. Однажды власти захотели его привлечь за какие-то грехи – так за народного горюна вступились тысячи. Тоболевского отпустили. Не минуло и недели, как Тоболевский возглавил акцию невнятного протеста. Утром, в февральский мороз, он пришел во главе толпы к дому губернатора области бошой, без шубы, в одной рубахе. Встав под окнами, он звал губернатора «встречать утро боли народной». Тот не высунулся, Тоболевский картинно побушевал, устроил митинг, на котором говорил понятными народу словами, потом замерз, сел в машину и укатил. После этого Тоболевского стали называть отцом-благодетелем.

Ко мне Тоболевский отнесся со всей самоотверженностью своей темпераментной души. Для начала он пригласил ребят из какого-то телеканала, и обо мне сняли довольно слезливый сюжет: я в комнате с Бахатовым – вопиющая нищета; я за роялем – неумирающая гармония; я с Тоболевским – восторжествовавшая справедливость. В конце передачи назвали номер моего расчетного счета, на который Тоболевский перечислил вполне круглую сумму.

Потом мне пошили фрак. В этом произведении искусства я выглядел подчеркнуто горбатым, но предельно элегантным. Я еще надеялся, что умелые руки портного если не скроют, то хотя бы смажут мой жуткий ущерб. Но ничуть не бывало. Тогда я понял, что Тоболевский ни за какие там верижки и коврижки не променяет меня на стройного, без изюминки, гения.

Через короткое время мы поехали в Англию. В городе Лидсе проводился музыкальный конкурс, где я стал

лауреатом. Очевидно, выбор страны тоже был продуман Тоболевским. Как прирожденный импресарио, он выжал все возможное из моей внешности и королевской фамилии. Обо мне появились первые заметки в зарубежной прессе, которые с удовольствием собирал Тоболевский. Рядом с моим именем упоминалось имя русского мецената Микулы.

Рецензии существовали в диапазоне от фельетона до панегирика. Какой-то газетный шутник сравнил меня с куклой Петрушкой, ярмарочным атрибутом. По его словам, я, крутогорбый и скоморошный, олицетворял соединенный образ старой и новой России. Разумеется, все эти измышления подавались в весьма корректной форме. Из приятных гордыне сравнений наиболее лестное уподобляло меня великому скрипичному горбуну девятнадцатого века, Николо Паганини.

Как ни странно, я почти не вынес впечатлений от дороги и от страны. В новинку был для меня воздушный перелет да волшебное комфортабельное купе английского вагона. Когда мы возвратились на родину, меня ждала собственная квартира, если это можно было так назвать, скорее огромная студия. Под нее перестроили целый этаж. Также позаботился Тоболевский. Среди прочих вещей и необходимой мебели был прекрасный рояль, концертная модель, взятая в бессрочную аренду из музея.

Мельком оглядев новое жилище, я тут же понесся к Бахатову. Он встретил меня, как будто мы только вчера расстались, и выглядел чуть изможденным. Эмоции его были сдержанны, но я видел, что он рад за меня. Я захлеб рассказывал ему о самолете, о замысловатом умывальнике в номере гостиницы и тут же распаковывал сумки с гостинцами. Вскоре на полу образовались

несколько куч из одежды и обуви. Естественно, по магазинам ходил не я, а кто-то из прислуги Тоболевского. Я только на бумажке указал, что следует взять.

Бахатов сразу разделся, чтобы примерить вещи, и я увидел на его груди знакомые, недавно подсохшие кровоподтеки. По числам выходило так, что начало конкурса совпадало с ритуалом обгрызания. Заметив мой взгляд, Бахатов понимающе усмехнулся, а мне в который раз стало очевидным, почему Бахатов не сомневался в благополучном исходе моей поездки. Он предвидел его, потому что готовил.

Все обновы ему понравились, особенно джинсы и кожаная куртка с множеством змеек. До полуночи мы рассматривали мои фотографии с конкурса, яркие проспекты и подарочные наборы открыток, купленные уже в аэропорту. Конечно, я сразу предложил ему переселиться ко мне и не очень удивился, услышав отказ. На лице его изобразились смущение и мука, он забормотал что-то бессвязное, но при этом решительно качал головой, и интонации были просящие. Я все понял и поспешил сказать, что я не настаиваю. Так Бахатов отстоял свое право на тайную жизнь.

В остальном ничего не изменилось. Мы по-прежнему виделись почти каждый день. Бахатов работал в своем жэке, я, подстрекаемый Тоболевским, готовился к грядущему конкурсу. Так мы перезимовали.

Моим совместным проектом с Бахатовым стал поиск родителей. Влияние многочисленных латиноамериканских сериалов сказало на наших впечатлительных умах. Мы подключили газеты и радио. Я не особенно верил в успех предприятия, но поскольку Бахатов – на-

тура неромантическая – занялся поиском, я сдался и тоже начал ждать и надеяться.

Бахатов аргументировал тем, что раньше мы были невыгодными детьми, нахлебниками, а теперь с нашими заработками составим счастье любым родителям. Действительно, через пару недель я получил письмо. Родная мать писала мне издалека. На двух листах она плакала и просила то прощения, то денег на дорогу, чтоб побыстрее увидеться с сыночком.

Я просто покоя лишился, а Бахатов многозначительно потирал руки. Мы неоднократно перечитывали письмо, пытаюсь составить по нему образ матери, но получалась клякса, слезливая и расплывчатая. Непонятным из письма оставалось, как она меня потеряла. Объяснение заменял трогательный абзац о выплаканных глазах.

Вначале я решил срочно выслать ей денег, благо, сумма не представлялась для меня проблематичной. Бахатов переубедил меня, настаивая, чтобы я съездил прямо к маме домой. Я уже начал собираться в путь, но меня вдруг смутила одна деталь. Мама писала, что «Глостер» была ее девичья фамилия. По маминим словам выходило, что мой папа нас бросил и она мне дала свою.

В этом-то и была загвоздка. Я почти на сто процентов знал, что проименован искусственно. При мне не находили никаких документов, просто подобрали, может, на помойке, может, в парке на скамейке или из реки выловили – кто упомнит. Поэтому я на день отложил отъезд, до выяснения происхождения.

Я позвонил Тоболевскому, он подключил свои возможности, и к вечеру меня оповестили, что под фамилией «Глостер» я был записан с легкой руки доктора, принявшего меня в распределитель для грудных детей. Ошибки быть не могло – значит, напутала мама.

Все-таки я съездил бы к ней, но в течение нескольких дней мне пришло еще с полдюжины писем от нескольких родителей, мам и пап. Вся родня отличалась бедственным финансовым положением – беженцы или погорельцы – и стремлением получить по переводу деньги, до востребования. Все казались такими сердечными, что я никому не отдал предпочтения и остался сиротой.

Бахатову вообще писем не поступило. Я очень разозлился из-за этого на всех близких родственников и сказал обескураженному Бахатову, что мы прекрасно проживем без них. Для успокоения я предложил ему навестить родной интернат и заодно Игната Борисовича. Тоболевский выделил нам машину, и мы, чуть волнуясь, поехали.

Я ожидал перемен, но не таких. Интерната больше не существовало. Остались только стены, да и те отреставрированные. Из окон исчезли решетки. Игровые площадки обрели новую, свежеекрашенную жизнь, на стадионе не пасли коз. Высоко в небе развевался флаг оранжевого цвета с непонятной эмблемой. Все извращалось на круги своя. На месте интерната, бывшего пионерского лагеря, находился лагерь бойскаутов, еще пустой, как очищенный желудок. Эта картина действовала угнетающе – интернат казался нам незыблемой твердыней.

Наш Игнат здорово сдал за минувший год. Он одряхлел, и в пьяненьком взгляде появилась потусторонняя мечтательность. Встретил он нас приветливо, как выходцев из забытого доброго сна. Глотая обиду, Игнат Борисович рассказал, что, когда интернат признали нерентабельным и закрыли, его вытурили на пенсию. Потом какая-то организация выкупила у города здание и

прилегающую к нему землю. Игнату Борисовичу некуда было деваться, и он попросился завхозом, аргументируя, что хозяйственник старой закалки, проработал на этом месте двадцать лет. Его оставили, и он жил, лишенный своего сумасшедшего королевства, одинокий Лир. Ведал простынями и резиновым спортивным инвентарем. Памятуя о хмельной его слабости, я привез спиртных подарков. Игнат Борисович даже прослезился от умиления.

Мы устроились в комнатухе, заменявшей ему кабинет, там Игнат Борисович накрыл стол – и мы выпили за прежние совместные дни.

Вдруг Игнат Борисович встрепенулся:

– Пойдем, – сказал он мне и потащил на двор. У меня слегка сжалось сердце, едва я понял, куда он идет. Мы обогнули интернат, Бахатов вяло плелся вслед за нами.

Нашего кладбища тоже не было. Юные скауты умирать не собирались, и надобность в кладбище отпала. Земельное детище Игната Борисовича перекопали в чудный парк. По ухоженным дорожкам мы вышли к недавно разбитому цветнику. Он представлял собой узор из ромбовидных клумб, расположенных правильным квадратом.

Игнат подвел меня к ромбу, содержащему незабудки вперемежку с анютиными глазками, и сказал:

– Здесь. Я специально сохранил место, знал, что ты захочешь посидеть у нее на могиле. Видишь, как тут красиво. – Я не понимал, как он проник в мою тайну. – А я еще и не то знаю, – словно отвечая моим мыслям, сказал Игнат Борисович, – ну, про тех, что пропали, – он заметил мое смятение. – Да ты не бойся, я молчок, я что, мне на них плевать. Лишь бы на стаканчик хватало, а остальное гори огнем...

Слова сами по себе казались бескорыстными, но в голосе звучала разумная алчность. Я достал кошелек и сразу оплатил будущее молчание. Денег должно было хватить аж на белую горячку включительно. Мы немного постояли возле клумбы с тряпичным прахом моей жены Настеньки и вернулись допивать бутылку.

От привалившего богатства Игнат Борисович развеселился. Он ходил за местным первачом, и мы до вечера пели детские хоровые песни. Потом мы засобирались, Игнат Борисович вышел нас проводить и долго махал рукой вслед нашей машине.

Так мы посетили отчий дом и, надо сказать, успокоились. По крайней мере, я.

19

Вскоре мне подвернулась вполне сносная практика. Знаменитый бас Андрей Запорожец предложил гастролить с ним в качестве аккомпаниатора. Он готовил камерную программу из сочинений Мусоргского, цикла «Песни и пляски смерти» и «Без солнца». До этого он отверг все ранние обработки.

По задумке Запорожца, преобладать в оркестре обязан был орган – инструмент, легко воссоздающий погребальную атмосферу. В дополнение к органному звуку Запорожец хотел использовать различные световые эффекты, люминесцентные декорации и костюмы в готическом стиле. Произведение превращалось в некий диалог между исполнителем и органистом – двумя основными действующими фигурами, символизирующими жизнь и смерть.

Мне создали очень интересный костюм. За основу взяли гравюры Дюрера. Костюмер достал ткань, факту-

рой передающую тусклый блеск рыцарских лат, и сшил мне подобающее средневековое облачение. Грумер тоже постарался и сделал мое лицо костлявым обличьем Смерти. Остальных ребят из ударно-духовой группы гримировали под висельников и могильщиков.

Я очень увлекся этой новаторской идеей и предложил Запорожцу не разделять между собой произведения, а без пауз нанизывать их на непрерывную музыкальную нить. Я продумал все тематические связи, за время которых Запорожец успеет сменить костюм, а зритель не вывалиться из концепции цикла. Запорожец с готовностью принял мое предложение.

Работали мы быстро и дружно, за месяц программа была подготовлена. Премьера состоялась в малом зале оперного театра. Конечно, не обошлось без помощи Тоболевского. Неизвестно, какими правдами или неправдами он достал орган удивительного тембра. В течение нескольких дней его перевезли и установили на сцене. Вообще Тоболевский решил почти все технические и административные проблемы.

Когда наш триумф состоялся, в интервью телевидению Тоболевский сказал, что очень подумывает о возрождении «Русских сезонов» в Париже. Я, признаться, был уверен, что следующим городом, который мы посетим, будет Париж с его Нотрдамским собором, где Тоболевский организует русскому Квазимодо органнй концерт.

У меня не вызывало сомнений, что подсознательная мечта Тоболевского – создать русский паноптикум, труппу монстров и уродов, пляшущих или пиликающих. Искусство как самоцель его мало интересовало.

Эту невеселую догадку о наличии у Тоболевского тайных склонностей компрачикоса подтвердил следу-

ющий факт. Мотаясь по сибирским дебрям, он нашел новую забаву – глухонемого борца Кашеева, двухметрового исполина чудовищной силы. Я даже заревновал, главным образом потому, что представлял себе сидящего в раздевалке мокрого Кашеева – свернул кому-то шею и доволен, а в коридоре уже голосит Тоболевский: «Да где же этот ваш новый Герасим, покажите же мне его!»

Как это ни забавно, я оказался поразительно близок к истине. Чтобы подключить Кашеева к денежной турбине, Тоболевский организовал соревнования имени легендарного Поддубного с увесистым призовым фондом. На такую приманку съехалось много именитых бойцов, к акции присоединились муниципалитет и ряд ведущих телекомпаний.

Кашеев знал свое дело. Он без разбора заламывал своих противников. На торжественной церемонии закрытия соревнований Тоболевский произнес длинную речь, а под занавес сказал, что нашему чемпиону, кроме кубка и денег, приготовили еще один маленький подарок. Вышла миловидная девушка, а в руках у нее был щенок спаниеля. Зрители взвыли от умиления, когда гигантский Кашеев, полчаса назад свирепо крушивший хребты, осторожно взял щенка и прижал к груди. Тоболевский поглаживал свою тургеневскую бороду и улыбался.

На достигнутом он не остановился. Сразу же после нововведенных соревнований Тоболевский организовал по западному образцу бои без правил, с Кашеевым-фаворитом. И, разумеется, пока Кашеев в ринге крушил и членовредительствовал, за канатами стоял человек Тоболевского с собачкой. В перерывах между раундами Кашеев брал ее на руки и гладил.

Действительно, как явление коммерческое он превзошел меня. Кашеев был зрелищней и потому прибыльней. В этом заключалась реальная опасность. Тоболевский в любой момент мог прекратить мое финансирование: и не из-за того, что пожадничал, а элементарно забыв о моем существовании. Я загрустил и даже собирался предложить Тоболевскому устроить турнир между мной и Кашеевым. Я очень рассчитывал на свою силу. У меня был шанс проверить свои борцовские возможности на одной из вечеринок, которые устраивал Тоболевский для близкого окружения.

Мы как-то засиделись на даче Тоболевского. Хозяин накрыл шикарный стол, и большинство приглашенных к вечеру уже были основательно хмельны. Все, кроме меня и нового любимца, – Тоболевский не позволял ему прикасаться к спиртному.

Тоболевский опять принялся расхваливать своего Кашеева, похожего на огромный, обтянутый кожей валун, пока это счастливое бахвальство не перешло в демонстрацию физической мощи Кашеева. Я старался не отставать, то скручивая в узел гвоздь толщиной с палец, то сменяя пустую канистру на манер пивных импортных жестянок. Гости, Тоболевский и Кашеев страшно разгорячились. Я понял, что нужный момент настал, и вызвал Кашеева побороться. Тоболевский подумал и разрешил.

Мы перебрались на поляну за домом. На ней обычно играли в лапту и городки, то есть только в русские игры – так хотел Тоболевский. Поляна вполне подходила, как он выразился, и для «кулачного боя».

Кашеев снял рубаху, я тоже, следуя его примеру, разделся до пояса. Вдвоем мы составляли более чем контрастную пару. Я выглядел в половину меньше его.

Конечно, если бы меня распрямить, во мне набралось бы достаточно роста – мы выяснили это, когда портной измерял мою спину матерчатым метром. И я всегда был каким-то иссохшим и болезненно белым.

Торс Кашеева не отличался античной красотой, но выглядел варварски мощно, как художественно опиленный ствол дуба. Мы сошлись, и я сразу понял, что представляет собой любимец Тоболевского. Мои руки еще могли тягаться с ним, но шейные и спинные позвонки ходили ходуном, как баранки на шнурке. Я видел, что у Кашеева на коже, там, где ее сжали мои пальцы, выступила кровь. Он был намного дюжее меня и привык терпеть боль. На какую-то секунду я зазевался, и, не останови Тоболевский поединок, Кашеев, по всей видимости, сломал бы мне шею. Мы вернулись к столу. Остаток вечера я разминал ноющие суставы, а Кашеев, потирая пунцовые кровоподтеки на плечах, тихонько гудел на ухо Тоболевскому свои грустные мысли.

Имелся, конечно, и другой шанс потягаться с Кашеевым. Для этого пришлось бы отыскать двухголового скрипача, припадочную виолончелистку, флейтиста с картофельными отростками вместо ног – то есть сколотить коллектив сродни цирку лилипутов – к чему, собственно, и стремился Тоболевский. Ходили слухи, что он собирался везти Кашеева на какие-то престижные соревнования в Афинах. Сроки совпадали с моей поездкой на конкурс в Италию.

Я позвонил Тоболевскому, чтобы обо всем договориться и узнать, на каком свете нахожусь. Разумеется, я не выдвигал условий, Боже упаси, просто поинтересовался, когда мы летим в Болонью. Тоболевский погрустнел и сказал, что не сможет в этот раз сопровождать меня, но пообещал все уладить с билетами, гостиницей, переводчиком и прочими дорожными мелочами.

Сама собой закончилась школа. Я сдал выпускные экзамены, отыграл концерт и получил соответствующие документы. Мой добрый ангел – декан Валентин Валерьевич – ждал меня в консерватории с распростертыми объятиями. До нового конкурса оставалось три месяца, и я подумал, что единственным нашим с Бахатовым упущением остался непосещенный детский курорт. Я уговорил Бахатова, он взял отпуск, и мы укатили в Евпаторию.

С утра до вечера мы сидели на пляже возле воды, рядом торчали плоские головки зарытой по горло «пепси-колы». Невдалеке копали в песке свои миниатюрные катакомбы полиомиелитные дети, и чайки, глядя на нас, кричали от ужаса. Непостижимое море раскачивало мутные волны, огрызки фруктов прыгали на волнах, как поплавки. Несколько раз в день на горизонте показывался белый профиль лайнера. Тогда всем мерещилось скорое счастье, которому хотелось помахать рукой. От этой поездки сохранилось несколько фотографий, моих и Бахатова. На одном снимке Бахатов стоит у кромки моря, под мышкой у него облупленный пенопластовый дельфин.

По приезду я начал усиленно готовиться к конкурсу, включил в программу произведения Листа, Скрябина, Равеля и Рахманинова. Накатывал я их публично, дал восемь концертов в филармонии, и критики писали, что никогда еще я так хорошо не играл. Наверное, они были правы.

За последние полгода я очень наловчился налаживать прочную связь с моим внутренним музыкантом. Раньше только на середине произведения ощущались его позывные, и я настраивался на нужную волну. Когда же он брал управление на себя, я отключался, он прони-

кал в мои пустые руки, и тогда я играл лучше всех. Он был настоящий псих – тот, кто сидел в моем горбу, и настоящий урод. Каждая секунда его жизни заполнялась адовой мукой, о которой ему приходилось молчать, – у него отсутствовал язык. Я знаю, что он не смог бы жить вне меня – у него от рождения не было кожи. Он играл голыми, мясо на костях, пальцами – так он общался, и это тоже причиняло ему чудовищные страдания. Но, жажда поведать миру о них, он превозмогал болью боль. Результат превосходил все мыслимое. Это были слезы высшей пробы. Может, поэтому стиль моей игры многие определяли как депрессивный. Но предельно индивидуальный.

Тоболевский проводил меня до аэропорта. Я летел в столицу и там пересаживался на «Боинг», следующий в Болонью. Тоболевский пожелал мне удачи и дал два небольших долларовых рулончика, перетянутых резинкой. Уже в Италии я развернул их. Первый состоял из пятидесятидолларовых купюр – на крупные и непредвиденные расходы, второй, – из мелких купюр – на чаевые и всякую чепуху.

В Болонье меня встречал заказной автобус, который и доставил к месту назначения. Мы ехали в город Больцано, что на севере Италии. Отель был по-прежнему коньячно пятизвездочным. Тоболевский выделил мне двух сопровождающих: тихого, как мышь, переводчика и телохранителя, компанейского парня, одновременно выполняющего обязанности камердинера.

Пока решались все административные вопросы, мне устроили экскурсию по городу. Через день состоялось открытие конкурса, я чувствовал себя легко и даже согласился позировать фотогравам. Я позже видел свое журнальное, глянцевое лицо, выбеленное, с будто прилипшими ко лбу и щекам длинными черными прядями.

Это произошло на втором туре. Внезапно и болезненно. Как хорошо мне игралось, но вдруг в голове оборвалось что-то кровяное и сосудистое. Запекло в глазах. Угольные пальцы зарисовали их. Мне перестало хватать воздуха, я жадно тянул его и не мог выдохнуть. Меня разнесло, как шар. Схватило позвоночник, под лопатку со стороны сердца вонзилась спица. От крестца вверх поднималась гипсовая волна немоты, и вместе с ней спинной мозг превращался в железный, обледеневший стержень. Я попробовал переключить ум на музыку и не услышал ни звука. Подумал, что просто перестал играть, потому что в рояле лопнули или испарились все струны. Рояль оглох. В опустевшем горбу завывал кладбищенский ветер.

Наконец слух вернулся ко мне, и я частично прозрел. Боль в спине отпустила. Гипсовая капля медленно стекала по ногам. По времени приступ, видимо, занял не больше десяти секунд. Но я испугался. Такого со мной никогда прежде не случалось. Оставшуюся программу я доиграл чисто механически.

Напрасной оказалась надежда, что обморочная моя заминка останется незамеченной. Первым делом за кулисами поинтересовались, как я себя чувствую. Я не знал правды и ответил, что хорошо. Мне пригласили ласкового доктора. Он ощупал меня узкими перстами и порекомендовал клиническое обследование.

Камердинер, бледный от нагрянувшей ответственности, бегал по номеру и конопатил щели в окнах, точно собирался травиться газом.

– Это все сквозняки ебанные, – успокаивал он меня. – Что ж ты свое сомбреро не носишь, – сокрушался, имея в виду мою старенькую вязаную шапочку, и заботливо повязывал ее вокруг возможного очага остеохондроза.

Он кутал меня в одеяло, хотя на улице стояла тридцатиградусная жара. Приложив ладонь к моему лбу, на ощупь измерял температуру. Качество тепла удовлетворяло его, тогда он заворачивал мне веки. – Красные. Плохо, – хватался за телефон и вызванивал русское консульство.

– Да все нормально со мной, что вы беспокоитесь, – говорил я ему.

Из консульства прислали машину, и меня повезли на обследование. Энцефалограмма не показала каких-либо серьезных изменений.

Мой опекун расцвел и тискал на радостях всех и каждого:

– Значит, порядок! А я, грешным делом, думаю: вдруг у него болезнь Бехтерева или Паркинсона... Нет? Ну, слава Богу!

Я изо всех сил старался повеселеть, но тревога не отпускала меня, впившись в сердце паучьими лапками. Я поочередно отцеплял их, и с каждой уходила возможная причина беспокойства. Я размышлял следующим образом: с конкурса меня никто не снимал. На первые места, наверное, рассчитывать не приходится, но звание дипломанта, по любому, за мной, а это тоже немало – только участие в таком солидном мероприятии обеспечивало карьеру, а я уже заработал имя. Я успокаивал себя подобным образом, пока не забылся.

Как я и предполагал, мне позволили доиграть в третьем отборочном туре. Выступал, правда, не ах. Я и сам это слышал. И не в технике дело – не было вдохновения. Я играл с онемевшей спиной, без привычного поводьря, поэтому пальцы извлекали не звуки, а щелкали орехи. Сплошной треск, а не музыка. Я получил утешительное звание, мне предложили пару концертов, но я отмел все приглашения.

Возвращались мы без прежних удобств, вторым классом. От этого я чувствовал себя провинившимся, не оправдавшим доверия и нервничал, ожидая встречи с Тоболевским. Он встретил нас в аэропорту, насупленный думой.

Я сразу сказал ему:

– Вы не расстраивайтесь, Микула Антонович, в следующий раз лучше выступим.

– Да ну их в жопу, блядей коррумпированных. Им лишь бы русского человека опустить! – ругнулся Тоболевский.

Я чувствовал, что за фасадом национальной обиды притаилась другая секретная мысль, о которой он не решается мне сообщить.

Тоболевский сделал паузу и сказал:

– Тут у твоего друга неприятности большие.

– Какие неприятности? – я старался говорить спокойно, но внутри меня закрутилась мясорубка. То, что с Бахатовым случилась беда, я понял еще в Италии, но от страха забросил на чердак знание о ней. Я назвал число – день моего провала: – Я не ошибся, Микула Антонович?

Тоболевский грозно зыркнул на моего камердинера:

– Я же просил тебя не говорить ему ничего, дурак!

– А что я? Я как рыба, – обиделся тот. – Сашка, скажи!

– Правда, Микула Антонович, он ничего не говорил, я сам догадался. Вы лучше скажите, что случилось с Бахатовым?!

– Человека он убил, – как бы удивился событию Тоболевский, – причем не просто убил, а голову отгрыз. Вот такое, бля, зверство совершил, – сказал Тоболевский и спрятал шею под воротник. – Он же вроде у тебя нормальный был, да?

Тоболевский был знаком с Бахатовым, приезжал к нему – может, в надежде открыть очередной уродливый талант. Иногда Тоболевский пользовался Бахатовым для благотворительных нужд. Передачу благ – денег и продуктов – он производил из рук в руки и всегда для объектива.

Я ничего не понимал. Бахатов не мог совершить такого. Убийство противоречило его натуре, пусть холодной, но не жестокой.

Бахатов в тот день не работал. В районе вечером произошла авария, и за ним послали напарника. Тот прибежал к Бахатову на квартиру, но не застал. Старший мастер вспомнил, что Бахатов по выходным пропадает на заброшенной стройке, торчит на крыше и до захода солнца будто поет непонятные песни. Напарник пошел туда за Бахатовым и не вернулся. Их обнаружили только к ночи: напарника с отчлененной головой в луже крови и рядом с ним обеспамятевшего Бахатова.

Я и не знал, как может болеть та часть души, где хранится любовь. Я ощущал этот орган живым кусочком страстного теста, и чья-то злая воля раскатывала его в блин шипастым валиком. В конце концов, случилось то, чего так боялся Бахатов. Его потревожили в момент ритуала. Он и раньше предупреждал меня об опасности вмешательства, но я не предполагал, что это настолько чревато.

– Где он сейчас? – спросил я.

– В отделении судебной психиатрии. Он в коме. Его вначале в изолятор отправили, там он сознание потерял, а оттуда уже в больницу.

Я едва сдерживал слезы. Одна мысль о беспомощном мягком Бахатове, которого волокут на казенную койку, сжимала мои кисти в стальных спазмах.

– Не переживай, – успокаивал меня Тоболевский, – ничего ему не будет, он же психически больной. Полежит годик под строгим надзором, а потом мы его вытащим.

Мне не хватало подробностей, и я попросил Тоболевского подвезти меня к нашему с Бахатовым учителю, Федору Ивановичу, реальному свидетелю несчастья. Старик был вдребезги пьян. Он бросился мне на шею:

– Горе, Сашка, какое! Хороший парень – и такую беду учинил!

Он рассказал мне почти то же самое, что и Тоболевский. Несколько кровавых уточнений не вносили ясности в общую картину. Получалось, что Бахатов в приступе болезненного гнева зверски убил приятеля по работе. Клянусь, я безразлично бы отнесся к тому, что мой Бахатов – убийца, если бы это могло быть так. Существовала другая правда, которую предстояло выяснить.

Я умолял Федора Ивановича вспомнить, пытался ли Бахатов хоть как-нибудь объяснить свой поступок. Старик долго не давал вразумительного ответа, только плакал.

– Он все о какой-то собаке говорил, просил оставить его хоть на пять минут, – сказал, наконец, Федор Иванович.

– Оставили? – с малой надеждой спросил я.

– Нет, он сопротивляться стал, ему по голове дали, и он затих.

Теперь я ни на йоту не сомневался в непричастности Бахатова к убийству. Очевидно, что глупого и несчастного сантехника загрызла собака из колодца, и об этом Бахатов пытался рассказать пришедшим. Разговор с Бахатовым откладывался из-за его состояния,

оставалось ждать, когда он придет в себя. Вдобавок он нуждался в улучшенном уходе. Тоболевский обещал похлопотать.

Наверное, я выглядел совершенно изможденным. Тоболевский подвез меня прямо к дому и велел отдыхать. Он рассчитывал уладить все проблемы за пару дней. Я свалился на свою кровать с мягкой панцирной сеткой и долго раскачивался на ней, приводя нервы в порядок.

Неожиданно для себя я отметил, что мои переживания прекратились. Тревога ушла, оставив не успокоение, а странную зудящую пустоту. Я на время примирился с этим назойливым ощущением. Через час пустота рассосалась по всему телу. На секунду мне показалась безразличной судьба Бахатова – она представилась мне неприсутствующей в жизни. Я почти насильно заставил себя сострадать и продолжал бодрствовать, пока эта эмоция не закрепилась. Но заснул я холодным и бесчувственным сном.

23

Утром позвонил Славик, водитель Тоболевского, и сказал, что мы можем ехать к Бахатову, а Микула Антонович обо всем договорился, но сейчас занят и с нами не поедет. Чуть помявшись, он добавил, что не сможет забрать меня из дому – ему не с руки, – а подберет в центре, возле универмага, ровно в одиннадцать.

Я пришел раньше минут на пятнадцать. Вдруг меня осенило, что я забыл купить Бахатову вещевой гостинец. Баночки с икрой и фрукты уже лежали в кульке. Я пробежался по этажам универмага, размышляя, что бы купить, но так и не выбрал. Все вещи казались мне надуманными, бесполезными и совершенно неподароч-

ными. Время поджимало, я заглянул в отдел хозяйственных товаров и понял, что попал по адресу. Мой взгляд сразу остановился на упаковке баночных пластиковых крышек. Это было то, что нужно. Во-первых, они напоминали о нашем детстве и первой Бахатова страсти грызть пробки и крышки, во-вторых, они являлись своеобразным реабилитационным тренажером, в котором, по всей вероятности, нуждался Бахатов.

Я не сразу заметил Славика, потому что он был не на обычной легковушке, как я ожидал, а на служебном «рафике». Машина предназначалась для грузовых перевозок, так как в ней убрали сиденья, оставив одно, рядом с водительским. Я досадливо подумал, что Тоболевский выделил неудобный транспорт – Бахатову даже присесть некуда. Но вспомнил, что он еще болен, нуждается во врачебной помощи и ехать не сможет.

В половине двенадцатого мы подкатали к психиатрической клинике, где находился перевезенный из изолятора Бахатов. Оставив машину возле серых металлических ворот, сваренных из средневековых копий, мы зашли на территорию больницы. Там к нам присоединился еще один человек, парень из охраны Тоболевского. Он кивнул Славике, пожал мне руку и молча пошел вслед за нами.

Я удивился и обрадовался одновременно тому, что территория больничного комплекса не охраняема и совершенно не казарменного типа. Но, возможно, Бахатов находился в особом корпусе под милицейским надзором. А в целом, если бы не решетки на некоторых окнах, все напоминало парк вокруг скромного санатория.

Славик несколько раз шепотом уточнял у проходящих людей дорогу, и, наконец, мы подошли к двухэтажному старому зданию, стоящему особняком от остальных корпусов.

Я не успел прочесть табличку на входе, удостоверяющую суть данного заведения. Меня лишь порадовало полное отсутствие охраны и даже вахтера.

Мы прошли чуть вперед по сумрачному коридору в поисках административной двери. Из-за невидимого поворота появился доктор в зеленом переднике и спросил, что нам нужно. Славик неловко завозился с документами, потом он вместе с доктором отошел и стал под единственной на коридор лампой. Доктор бегло просмотрел бумажки и пригласил нас следовать за ним.

Вокруг царила церковная тишина, только вместо ладана нестерпимо пахло дезинфекцией. Чтобы хоть как-то разрядить эту едкую тишину, я запустил шутку, натянутую, как резиновая перчатка:

– А тараканов у вас точно не водится? От такого запаха все передохнут!

Доктор с неожиданной прытью откликнулся на шутку:

– Тараканов нет, зато крыс предостаточно! – и рассмеялся пугающим совиным смехом.

Славик солидарно побряхтел, но на лице его был религиозный испуг. Охранник Тоболевского оставался египетски нем.

Я вдруг спохватился, что веду себя фривольно и эгоистично и совсем не поинтересовался здоровьем Бахатова.

Я выдержал паузу и степенно спросил:

– А как чувствует себя пациент Сергей Бахатов?

– Хорошо, – откликнулся частушечным голосом доктор. – Чаек попивает, газетку почитывает.

– А когда его можно будет забрать?

– Да прямо сейчас! Юморист! – доктор открыл дверь в палату.

Я действительно ожидал увидеть Бахатова с чашкой дымящегося чая в руке, нежный свет настольной лампы и стопку газет на тумбочке возле кровати. Комната была черной и холодной. Доктор в два прихлопа нашарил выключатель, и на потолке вспыхнул тусклый медицинский плафон. Посреди комнаты стоял широкий оцинкованный стол, на котором лежал белый сверток размером с человека.

Сам не зная почему, я ударил доктора в живот. Он влетел в стеклянный шкафчик, рассыпая трупные инструменты и выдавленные стекла. Я подскочил к доктору и несколько раз пнул его ногой.

– Хватит с него, – вдруг сказал охранник. – Убьешь, а он нам еще пригодится.

Дергающийся на полу доктор давился ругательствами, выдувающими на губах розовые пузыри. Скрюченной рукой он вытер со скулы кровавую липкость и посмотрел на охранника с вопрошающей ненавистью.

– Это друг босса, – вяло объяснил мой срыв охранник, – у него горе. Право имеет.

Доктор перевалился на колени и, опираясь на кулаки, попытался приподняться. В такой обезьяньей позе он восстановил равновесие, встал и шатко поплелся к умывальнику.

Я подошел к свертку на столе и распеленал в том месте, где угадывались очертания головы.

На меня взглянул мертвый Бахатов. Он очень отличался от себя спящего. Новый профиль Бахатова был лимонно-желтым, с оттопыренным, как у подстаканника, ухом. Я коснулся пальцами его лба и почувствовал холод внутри Бахатова. Этот холод показался мне единственно живым в Бахатове, потому что он, подобно электрическому току, проник в меня и подморозил

мои внутренности. В одну секунду мы стали одинаково ледяными.

– Когда он скончался? – спросил я.

– Вчера ночью, – фыркая водой, сказал доктор.

– От чего он умер?

– Приступ гипертоксической шизофрении, – доктор уже умылся и смотрелся вполне сносно, будто измученный флюсом, – а проще говоря, отек мозга.

– Его можно было спасти? – я спрашивал без провокационного подтекста.

– Пожалуй, нет, – честно ответил доктор, – слишком поздно привезли.

На открывшейся шее Бахатова я увидел синий полумесяц. Точно такой же, симметрично расположенный, я нашел с другой стороны шеи. По краям синяки были более крупными, посередине – мелкие и частые. Вместе они напоминали след от собачьего укуса.

– А это откуда взялось?

– Это? – доктор склонился над Бахатовым. – На укусе похоже, да? Сосуды лопнули. Бывают и не такие узоры. – Доктор повернулся к охраннику. – Вы труп сейчас заберете? Если заберете, мы его подготовим.

– Готовьте, – сказал охранник. – Вот его одежда, – из своего кейса он достал черный костюм с разрезом на спине, – переоденьте покойника.

Доктор вышел за помощниками и скоро вернулся в сопровождении двух санитаров. Они ловко обнажили Бахатова. После смерти ему не скрестили руки, а уложили по швам, как солдату.

На правой руке ногти были полностью обкушены, на левой оставались два ногтя – на указательном и большом пальцах – адова мука Бахатова. Я не мог вернуть ему жизнь, но в моих силах было успокоить его на том свете, избавить от вечно грызущего пса.

Благодаря проворству санитаров Бахатов вскоре лежал нарядный, как жених. Доктор принес длинный полиэтиленовый мешок на змейке.

– Подождите несколько минут, – сказал я, – если не трудно, оставьте меня с моим другом, я хочу побыть с ним наедине.

Славик сразу убежал вместе с санитаром, чтобы тот показал, как подогнать машину прямо под морг. Доктор и второй санитар сказали, что сходят за носилками. Охранник собирался ехать в крематорий – там мы договорились встретиться – и тоже вышел.

Я присел слева от Бахатова. Интуиция подсказывала мне, что я поступаю правильно. Я взял в свою ладонь кисть Бахатова, холодную, как зимний булыжник, и немного погрел. Я убедил себя, что собираюсь сделать акт не более страшный, чем облизывание сосулек, обхватил ртом первую фалангу с ногтем на указательном пальце Бахатова, пристроил зубы и начал по миллиметру откусывать выступающую роговую кромку.

У ногтя не было вкуса. Уже поэтому долг перед Бахатовым казался мне простым и необходимым. На большом пальце ноготь вырос гораздо тверже, и мне пришлось повозиться, прежде чем я отгрыз его. С кривыми сабельными обломками во рту я мысленно простился с Бахатовым, пожелал ему счастливой смерти и выплюнул отгрызки. Далее, повинувшись какому-то наитию, я осмотрел шею Бахатова. Как я и рассчитывал, собака отпустила его.

Вернулись доктор и санитар. Бахатова уложили в мешок и погрузили на носилки. На пороге мертвецкой я оглянулся. Свет был выключен, но на столе, где минуту назад находился Бахатов, суетилась и ворочалась черная тень, слышались царапанье когтей по цинку и тихое урчание, а потом над столом зажглись и повисли две красные искры.

Мы выехали за город. Через некоторое время я увидел здание крематория, похожее на уютный заводик с изразцовой нарядной трубой. Возле ворот нас ждали охранник и местный сотрудник.

Он вежливо сказал:

– Проходите, пожалуйста, в церемониальный зал, там вы сможете проститься с усопшим.

По мощеной, в траурных разводах, дорожке мы со Славиком прошли к центральному входу крематория. Бахатова внесли с другого входа. Охранник последовал вслед за приемщиком со словами, что мы не нуждаемся в каких бы то ни было ритуальных обрядах, и желательно все провести по возможности быстро.

Церемониальный зал крематория из-за обилия облицовочной плитки очень напоминал станцию метро. Бахатов лежал в разборном, как кузов самосвала, гробу. Из динамиков, замаскированных под венки, оркестр заиграл грустную мелодию Дворжака. Поскольку слов для прощания у меня не было, я положил в гроб к Бахатову кулек с продуктами и крышками и, как с перрона, помахал рукой. Неслышно включилась движущаяся лента, и Бахатов медленно уплыл в квадратный проем, колыхнув бархатные портьеры.

Я выстоял несколько минут в ожидании характерного выстрела, который издает лопнувшая от жара консервная банка, но ничего не услышал. Распорядительница в черной хламиде предложила нам прогуляться в саду, пока готовят урну с прахом. Через полчаса мне вручили железную коробку с порошком Бахатова. Она была чуть теплой.

Охранник сказал мне, что место для урны забронировано на первом городском кладбище, но я отказался хоронить там Бахатова. Я имел по этому случаю особое

мнение. Охранник счел все свои погребальные функции выполненными, сел в машину и уехал. Остались я и Славик.

– А теперь куда? – спросил он, когда мы сели в кабину.

– В «Гирлянду», – высказал я вслух внутреннюю мысль, не предназначенную для наружного употребления.

– Это что, кладбище такое, привилегированное? – мрачно поинтересовался Славик.

– Почти, – я поразился его догадливости.

– И далеко отсюда? – Славик устало потянулся к ключу зажигания. Мотор всхлипнул и завелся.

– Не знаю, минут сорок.

– Тогда, может, завтра? – встрепенулся Славик.

– Нет смысла. Сегодня одним махом все и закончим.

Мне совершенно не хотелось ему объяснять, что завтра для меня, возможно, не наступит, – у нас, гирляндовских воспитанников, разрыв между смертью напарников не превышал трех суток.

– Ну не могу сейчас, – артачился Славик, – мне еще по городу помотаться надо, на фирме дела, а после машину в гараж сдать. Я вот что – я тебя домой заброшу, а вечером на своей тачке заберу. Так и быть, съездим.

– Ладно, только у меня к тебе просьба будет, захвати лопату, любую, лишь бы копала.

– Сделаем, – пообещал Славик.

– И еще, отвези меня в одно место, – я назвал ему адрес моей бывшей жилищной конторы. Я очень хотел, чтобы Федор Иванович и ребята попрощались с Бахатовым. И не прогадал.

В конторе наши отмечали девять дней по зверски убиенному коллеге. Я присоединился к их горю. На каком-то водочном поминальном витке я осмелел, достал

урну, поставил ее на стол и сказал: «Выпьем за Сережу Бахатова!»

Они-то не знали, что он умер, и после каждой стопки чихвостили его почему зря. Я был готов к негативной реакции, но ребята оказались на духовной высоте. Присутствие на поминках праха возможного убийцы не смутило их. Они выпили и за Бахатова, пожелали ему пуховой земли, царствия небесного и червонца за гнилой стояк. Такая у наших ходила поговорка.

25

Славик заехал за мной около восьми вечера. «Раньше не успевал, – оправдывался он. – Зато смотри, не забь!» – он протянул мне складную лопатку в брезентовом чехле.

На исходе сентября, в сумерках, наш альма-патер, переоборудованный в лагерь, за невысоким забором, весь в кустах и деревьях, вполне сходил за кладбище. Скаутский летний сезон закончился, интернат был тих и пуст. Я сказал Славику, чтобы он ждал меня в машине, а сам пошел когда-то знакомыми, а теперь асфальтированными и чужими тропинками. Мне казалось, что Бахатова следует похоронить рядом с Настенькой.

Очень быстро стемнело, и серые окрестности погрузились в непроглядный мрак. Даже я, знавший наизусть все нехитрые маршруты, ведущие к интернату и от него, понял, что не могу сразу определить, куда мне идти. Я долго вглядывался в темень, пытаюсь сориентироваться. Дело в том, что мы подъехали к интернату с другой стороны, и моя топографическая память не перестроилась на зеркальное восприятие. К счастью, подул высокий ветер, разогнал тучи. Проглянула луна в компании звезд и тускло осветила мой ошибочный

путь. Я забрел в совершенно противоположную сторону. Пришлось возвращаться, но я уже шел в нужном направлении – напрямик к кладбищу, с Бахатовым в одной руке и лопаткой в другой. В каждом шевелящемся кусте мне мерещился лохматый собачий бок.

За деревьями начинался цветник: ухоженные клумбы различных геометрических форм, помещенные в строгий прямоугольник. Игнат Борисович никого не забыл и перехоронил каждого ребенка в своей клумбе. Я ненадолго растерялся, потому что не помнил, в какой из них лежит Настенька. Я бы определился по ряду и месту, но не знал, откуда считать. Весною на могиле росли незабудки, теперь ее покрывал увядший травяной сор, она потеряла основные приметы.

Я ходил среди могил и терзался сомнениями. В одном из рядов я просто нашел пустующую землю. На ней вполне поместились бы две персоны. Это решало все проблемы. Я сел рыть яму.

Почему-то я начал делать ее размером как для целого человека в гробу, а не емкости, величиной со скворечник. Я сообразил, что это займет у меня в десять раз больше времени, но убедил себя не мелочиться на труде. Почва была рыхлой, и моя работа успешно продвигалась.

Я вырыл яму глубиной метра полтора, выровнял стенки и, как на дно сундука, опустил туда урну. Чуть отдохнув, я нащипал каких-то сорняков, сохранивших цветы до осени, и бросил поверх урны. Под деревьями я накопал землю для холмика и в несколько приемов перенес ее в рубаше, а самому холмику придал стандартную форму перевернутого корыта.

От отделочных работ меня отвлекли еле слышные фортепьянные аккорды, доносившиеся со стороны ин-терната. Наверное, я воспринимал звуки давно, но не

вычленял слухом из-за органичного их соответствия происходящему. Мелодия была простенькой, но очень скорбной. Фальшивый строй самого инструмента придавал ей особую шарманочную грусть.

Как зачарованный, я обошел здание в поисках источника звуков. Мелодия стала отчетливей и громче. Из подвального окна, наполовину утопленного в землю, выползло дряблое кружево света. Присев на корточки, я заглянул в окно.

Сперва я увидел спину человека за пианино. Играл горбун, и уродство его было чудовищных размеров, вздувшееся, как комариное брюхо. Горб чуть покачивался в такт музыке, оболочка его, укрытая одеждой, казалась тонкой, пленочной. Я подумал, что если проткнуть этот горб, он лопнет высосанной кровью.

Потом я вспомнил сам инструмент – мое старенькое интернатское пианино, случайно мной открытое в заброшенной комнате. Я не предполагал, что оно способно издавать такие тревожные и сладостные звуки. Тем временем мелодия обростала новыми темами и вариациями, становясь все более горькой и прекрасной. Я мог поклясться, что этой мелодии раньше не существовало и что я знал ее всю жизнь.

На дощатом столе горела керосиновая лампа. Тонкий фитиль дрожал в неестественно ярком синем бунте. Рядом стояли три стакана и бутылка, не хватало лишь двоих приятелей горбатого импровизатора. Вдруг он обернулся, положив на плечо длинный подбородок.

Это был Игнат Борисович. Невдалеке завyla собака, громыхая колодезной цепью. Игнат Борисович засмеялся пунцовым опухшим ртом, высунул, дразнясь, длинный язык, и в мелодии появились рубленые ритмы танго. Стол отъехал куда-то вбок, освобождая пространство для танцующей пары.

Они появились – два свившихся тела в белом. Ведущий танцор двигался широким шагом, поддерживая партнера под поясницей. Второй эффектно подволакивал ногу, пока она не выскользнула из штанины. Свободной рукой он подхватил свою оторванную конечность и стал обмахиваться ею, как веером. На подъеме музыкальной страсти они одновременно посмотрели на меня, чтобы я вспомнил их сведенные насильственной смертью лица.

Страшно выла, срываясь с цепи, собака. А музыка уже сменила характер – звучала русская «Барыня». Вплыла молодая красавица. Простыня в кровавых пятнах заменяла ей шаль. Повернувшись ко мне, она распахнула простыню, под которой отсутствовало тело. Грянул заключительный аккорд, упала пустая простыня, со звоном лопнула цепь, сдерживающая собаку.

Я отлип от окна и поднялся, успев подумать, что забыл на могиле лопату и лишил себя единственного оружия. Я вскинул для защиты руки в надежде перехватить злобную тварь под горло. В какую-то секунду я увидел, как на большом и указательном пальцах левой руки пробились стальные ножевидные ростки.

То, что приближалось, не имело зримой формы – одни стеклистые очертания. Оно обладало массой, я ощущал дрожь земли лучше сейсмографа. Я не увидел, а почувствовал челюсти, сомкнувшиеся рядом с моим горлом. Уже не приходилось гадать, какой природы это существо. Огромный сгусток невероятно большой эмоции, чудовищный концентрат скорби облепил меня. В каждой молекуле существа, казалось, сосредоточилась боль по десяти умершим сыновьям. Напорвшись на мои стальные ногти, сгусток прорвался и потек. По мне струились слезы, горячие и обжигающие, как кислота.

Неподалеку пробежал, бряцая ведрами, Игнат Борисович, и на спине у него расплывалось огромное черное пятно. Перед ним открылся, как глаз, колодец, закрылся и исчез вместе с Игнатом Борисовичем.

26

Под моими ногами лежал издохший пес – сторожевой полкан, заурядная помесь овчарки с неизвестным собачьим плебеем. На кольце ошейника висел короткий обрывок цепи.

Я испытал чувство досадной неловкости. Особенно когда заметил, что у моего невольного злодеяства был свидетель. Старик, возможно, местный сторож, стоял в нескольких шагах от меня, пряча в ватный воротник красное, словно отсиженное лицо. Он явно не решался подойти и заговорить первым.

– Вы уж извините за собачку, – сказал я, отвратительно смущаясь, – совершенно не хотел ее убивать.

– Если вы жмура привезли, так зачем же сами-то закапывали, ручки свои марали, – оживился старик. – Я и лопату бы принес и с известкой закопал бы, – на каждое его слово приходился мелкий услужливый поклон. – Я ведь скольких тут позакапывал, и всех с известкой, мне ваше начальство доверяет, а вы сами потрудились, нехорошо... – бедняга, очевидно, переживал, что упустил заработок.

Я не выяснял, какое начальство прячет здесь покойников.

– Вот, возьмите, – я протянул ему сотенную бумажку.

– Благодаритель! – сторож хищно сжевал награду кожистыми, будто куриными, пальцами.

Бормоча о каких-то дополнительных услугах, что он бы за надобностью и расчленил, и в газетку завернул, хо-

зыйственный старик наклонился к мертвому псу и снял с него ошейник.

– А может, вам собак нравится душить? – доверительно поинтересовался сторож. – Так я могу добыть.

– Спасибо, не нужно, – я поспешно отказался.

– А не желаете уродицу? – он алчно облизнулся. – Тысячонку дайте и вытворяйте с ней все, что душе угодно, помрет – не жалко, я с известкой закопаю. Здесь их раньше много водилось: и уродов, и уродиц, – сторож плутовато улыбнулся, – а потом перевелись, я последнюю забрал...

Кажется, в тот момент он рассмотрел меня полностью. Сторож дурно закричал и рухнул на землю.

– Ты чего орешь, дурак? – я не совсем понял причину его испуга.

– Так ведь убьете, – заплакал сторож.

– Зачем мне тебя убивать? – я удивился.

– Вроде как пару вам нашел!

Мне оставалось поражаться тому наивному изяществу, с которым он записал меня в уроды.

– Пожалейте, я вам ее даром отдам! – сторож проворно вскочил и, ежесекундно оглядываясь, побежал нелегкой старческой трусцой. – Сюда, сюда, тут она...

Он подвел меня к постройке, напоминающей добротный дворницкий сарай, в котором хранят инвентарь. Какими-то цепляющимися за жизнь движениями сторож отодвинул засов и открыл дверь. Отвесив жалкий поклон, он юркнул в сарай и через минуту вывел обещанную девочку.

– Видите, какая она, – сказал сторож, – чистенькая, сытая, – он погладил ее по плешивой, с редкими прядками светлых волос головке.

Это был ребенок-идиот с довольно милым, немного бульдожьим личиком. Я хорошо помнил таких де-

тей, пухлых и беспомощных. Она улыбалась, показывая редкие и мелкие, как рис, зубы. Для соблазнительности ее нарядили в перешитый из больничной пижамы короткий пеньюарчик – из-под застиранных рюш торчали толстые и морщинистые, как у младенца-переростка, ножки.

– Поздоровайся с дядей, Настенька, – сказал сторож с робкими нотками игривости.

Девочка стояла, не шевелясь, затем, по устоявшемуся рефлексу, подтянула до пояса пеньюар, обнажая курчавые гениталии.

Мое молчаливое созерцание послужило сторожу сигналом к бегству. До этого он осторожно пятился, а затем рванул что было сил за деревья. Девочка глянула сквозь меня слипшимися крошечными глазками и, потоптавшись на месте, заковыляла обратно в сарай.

В природе обозначились первые признаки рассвета. Акварельная чернота небес сменилась синими тонами. Я шел к машине без надежд и без страха. Смерть откладывалась лишь до того момента, пока трупный яд Бахатова, как из сообщающегося сосуда, полностью не перельется в мое тело и не остановит сердце.